

МЕТРОНОМ

*...так ведь меня могут спутать с теми , кто пишет о розах
и бабочках...*

высказывание в сети.

Да, я буду писать о бабочках и цветах
Всем смертям и войнам назло – обязательно буду,
Потому что мне не пройти через боль и страх,
Если не пронесу их в себе повсюду.

Да, я буду писать о них, потому что они – хрупки,
Потому, что их мужество много больше, чем наше...
Лёгкие крылышки, тонкие лепестки –
Целый мир, что мудрее людей и старше.

Буду писать, потому что без нас без всех
Жизнь обойдётся, а вот без них - едва ли.
Просту треснут, расколуются, как орех
Планы, амбиции, прочие «трали-вали».

Потому, что когда не станет «своих» и «чужих»,
И сквозь горький стыд и недоуменье
Мы возвратимся, то снова увидим их.
И разглядим вечность внутри мгновень

Гдов.

Жизнь в городке замирает около трёх:
Заперты церковь, столовая, магазин,
Пусто на станции – ни поездов, ни дрезин,
Сухо в стручках пощёлкивает горох
У переезда, заброшенного так давно,
Что даже шпалы замшели, как будто пни.
В крепости козы уже не пасутся, но
Просто лежат в дремотно-густой тени.

Только в низине поблёскивает река,
И осыпается медленный пыльный зной
Между нездешним ужасом борщевика
И лопухов беспамятностью земной.
Только кузнечик, звоном наполнив слух,
К детству уводит от горечи и тревог,
Да над садами яблочный чистый дух
Напоминает, что где-то ещё есть Бог.

Семь раз отрежь, один – отмерь,
И нищету прими.
Чем оправдаешься теперь
Пред Богом и людьми?

За пустоту, за суету,
Словесный сор и прах,
Мучительную немоту
И неизбытый страх -

Глухой и тёмный, как сорняк,
За долгий сон души.
...лишь на столе слепой сквозняк
Бумагами шуршит.

Лишь в глубине двора – шаги,
И призрачная дверь
То грохнет выстрелом: «Беги!»,
То тихо скрипнет: «Верь!»

.

Едва очнёшься, а уже – зима:
Бесснежный холод, как заточка, острый
Покалывает вмёрзший в реку остров,
И ангелов, и тёмные дома.

Морозный ветер обрывает сны,
Грохочет жестью, лязгает засовом.
Имперские орлы, химеры, совы
Так беззащитны и обнажены.

И ты на остановке поутру
Торчишь мишенью чёткой и печальной,
Автобуса, как милости случайной,
Ждёшь - не дождёшься, куришь на ветру.

И жизнь, того гляди, перетечёт
В увядших листьев шорох невесомый,
В поспешные шаги и метронома
Размеренно-неумолимый счёт.

Диалог в пути.

- Вору́ют, - ответил Карамзин...
С.Д. Довлатов «Чемодан»

- Держитесь, сударь! Снова – ямы.
- Да...
Лошадкам бы не покалечить ноги...
- Вы, сударь, понимаете – дороги...
Они у нас такие, как всегда.

- Желаете ль понюшку табака?
- Спасибо, но теперь не в моде это.
Мы нынче, сударь, курим сигареты.
А вы здоровы будьте – на века.

- Ну, как в России? Всё воруют?
- Да.
Чиновники раздулись, будто жабы.
- Всё та же наша древняя беда...
- Но несопоставимые масштабы:

Воруют страстно, яростно. Стыда
Не знают вовсе. Что ни говори там,
Все давешние воры-фавориты
Пред этими – ну просто ерунда!

- А что ж закон?
- И, сударь мой! Закон!
Вы знаете и сами: он – что дышло.
Как повернёшь – вот так оно и вышло...
Одни слова, словесный шум и звон.

- Мужик-то не бунтует ли?
- Народ
Притих – больной, обманутый и нищий.
Он эту землю так залил кровищей,
Что пахари у нас наперечёт.

- Ну, бабы ведь – рожают. Говорят,
Царь Пётр однажды, всё-таки, заплакал
Над павшими (хотя сажал ведь на кол
И головы рубил стрельцам подряд),

Но тут же был утешен горячо
Одним из генералов: дескать, бабы
У нас неприхотливы и неслабы,

И нарожают нам солдат ещё.

Так что же, а? Исправно ли на свет
Солдат нам производят нынче бабы?..
...тьфу, Господи, прости! Опять – ухабы!
- Что, сударь? Бабы? – Не рожают. Нет.

- Но вы... Россию... всё же...

- Вот те на!

Мы тоже матерей не выбираем.

И если нужно – так же умираем

Без лишних слов. В любые времена.

В горьких снах приходят ко мне
Те убитые на войне,
Кто и вовсе не воевал,
Чья могила – пустырь, подвал,
Где настиг их шальной снаряд...
Вот стоят они и молчат.
Оглушает безмолвный хор...
Мне не выдержать их укор.

И – мурашками по спине:
- Почему вы – ко мне? Ко мне?
Ваша смерть – не моя вина.
Это просто – война, война.
Это просто – беда, беда...
Так зачем вы пришли сюда?
Вы ошиблись... -

и мне в ответ
Шелестит, словно выдох: «...нет».

Что хотите вы от меня?
Где найду я для вас огня,
Если жизнь моя – в суете,
И слова мои все – не те,
Если я – в потёмках сама,
Если проще – сойти с ума?
Отступитесь, как сон, как бред! –

И в ответ, словно эхо:
«...нет!».

Выйдя из магазина
на углу двух заледенелых улочек,
услышала стук метронома.

Ничего необычного –
проверка системы
оповещения граждан.
Отчего же тогда
сердце забилося так гулко?
Отчего
мир на доли секунды
стал чёрно-белым,
а сквозь ампирную стену
проступила другая,
зияя провалами окон?
Ты сжал мою руку.
Неужели, - и ты ?
И ты – тоже?...
Неужели у всех ленинградцев
в бездонных глубинах
генетической памяти
неумолчно стучит метроном?

*Памяти моего деда –
Александра Яковлевича Смородинского*

Дед воевал на Невском Пятачке,
В живых остался чудом, слава Богу.
Жил налегке, и умер – налегке,
И ничего не взял с собой в дорогу.

И всё же – взял. О том, как воевал,
О том, как трудно шёл от боя к бою
Не рассказал. Он память оборвал,
И целиком забрал её с собою.

И вот, в привычной жизни на бегу,
По пустыкам растрачивая силы,
Простить себе никак я не могу,
Что ни о чём его не расспросила.

И поставили памятник Анне напротив тюрьмы,
Чтобы вновь ей смотреть на сырые кирпичные стены,

Где окошки прищурились, полные дремлющей тьмы
И притихшего лиха, таящегося среди тлена.

О, как холодно здесь! Ленинградскую серую гарь
Разрывают ветра и бросают прохожим навстречу.
О, как сердце болит! Лишь бывалый острожник-январь
Посыпает колючим снежком угловатые плечи

И поёт монотонно... А время сжимает кольцо,
То свинцом угрожая, то лязгая цепью железной.
Но ведь кто-то же должен стоять, повернувшись лицом
К неизбежному страху, готовому хлынуть из бездны.

Был февраль, и Шуваловские холмы
Застывали в дымке белёсой.
Отпеванье задерживалось. И мы
Просто ждали – безмолвно, бесслётно.

Заметало колючей печалью крыльцо,
Одиноко, и как-то несмело
Из-под снега глядели кресты. И лицо
Леденело. И всё – леденело.

Но, как будто бы глядя на мир изнутри
Сокровенного сердца метели
На графически-чёрном кусте снегири
Алым жаром горели и рдели,

И посвистывали. Ну а возле куста,
Глядя на вожделенные цели,
Три больших, полосатых, пушистых кота
В неподвижном молчаньи сидели.

Вот один потянулся, по насту прополз –
По зернистой, крошащейся крыше.
И – взобрался на куст. Был он грузен и толст,
Но карабкался выше и выше –

К самым тоненьким веткам... Так близок успех –
Вот сейчас он поймает! Но стая
Разом вся поднялась. И мерцающий смех
В бледном небе бесследно растаял.

Мир вздохнул, словно в стылых глубинах земли
Чья-то мёртвая хватка разжалась.
И горячие слёзы свободно текли
В бесконечность. И жизнь – продолжалась.

Над крапивой глухой, над остатками бывшей усадьбы
Засвистал да защёлкал из мглистых кустов соловей.
Расточительно-щедро гремят соловьиные свадьбы
Над моею землёй, над огромной печалью моей –

Над бурьяном полей, над безбожьем и над бездорожьем,
Над загубленным лесом и мёртвой деревней пустой,
Над великою правдой и над беззастенчивой ложью,
Над безумным богатством, усталостью и нищетой,

Над безмерным талантом людским и бездарностью власти,
Над задумчивой вечностью и суетливостью дней...
Над землёй, как над бездной, поёт соловьиное счастье,
Чистым голосом жизни, бесстрашно взывающим к ней.

И вновь запела скрипка у метро
О чём-то мимолётном и печальном,
Ненужном, неоплаканном, случайном -
О гулкой неприютности дворов,
О стихнувших шагах твоих, о том,
Чему уже вовек не повториться,
О стёртых именах, забытых лицах,
О доме, предназначенном на слом.
Я не хочу ни знать, ни вспоминать.
Скрипач, прошу тебя, смычка не трогай -
О безнадёжной хрупкости земного
Земному не спеши напоминать.
Да и мотив затаскан, полужив,
Как с времени полученная сдача...
А я над ерундою этой плачу,
В пустой футляр червонец положив.

Получая свидетельство о рождении
своей давно умершей матери,
- *Для подтвержденья родства –*

получая её же
свидетельство о браке
с ныне покойным отцом,
словно перебираю
мелкие, острые
осколки мозаики
разбитых вдребезги жизней.

Горячая кровь
течёт по исколотым пальцам,
подтверждая родство.

Две фотографии.

Две фотографии передо мной:
ЦПКиО, дворцовые ступени,
Июньский день в мерцаньи светотени,
Плывущий над камнями влажный зной.
На первой – вместе я и мама с папой,
И лев катает шар чугунной лапой,
Блестя отполированной спиной.

А на другой – всё то же: и стена,
И лестница, и стриженная кроха,
И платице воздушное в горохах,
И львиной гривы чёрная волна.
Всё те же декорации, всё – то же:
И день, и час, и да же ракурс – схожий,
И только я – уже совсем одна.

И на ступенях тополиный пух
Подобен пеплу. А на заднем плане,
Слегка размытый, словно бы в тумане,
Дворец покинутый пустынно-глух.
Лишь девочка, да чёрный лев чугунный...
Как будто кто-то прикоснулся к струнам,
И пробует мелодию на слух.

Воспоминание

Не сажай меня в финские сани, одну не спускай с горы.
Папа, я не хочу, я боюсь лететь в эти тартарары.
Обмерзает от ветра лицо, и – никого за спиной.

Не говори: «Трусиха!», не цеди сквозь зубы: «Не ной!».

Не тащи меня в речку на самую глубину –
Я утону, я камнем пойду ко дну.
Не заставляй меня снова преодолевать этот страх,
Разреши мне заплакать, покачай меня на руках.

Не заставляй меня быстро умножать и делить на ходу,
Не тяни меня за руку – по снежной каше, по льду.
Не обзывай меня дурой, пожалуйста, не обзывай,
Не грози сдать в милицию, засунуть в пустой трамвай.

Отпусти лучше к маме. А хочешь –пойдём вдвоём.
Ты сказал, что она – далеко, но уж вместе-то мы найдём!
Знаешь, песенка есть про то, что вместе шагать легко...
Почему ты прячешь лицо, в стену бьёшь кулаком?

Я не буду волком глядеть, не буду тебе грубить.
Папа, честное слово, я тебя постараюсь любить,
А не только лишь помнить с горечью и виной...
Не запирай меня в тёмной комнате – там очень страшно одной.

Вот же мы, Господи – весь Твой улов.
Сыплются острые камушки слов
Сквозь нарастающий шорох и треск,
Сквозь ледяной ослепительный блеск.
Вот мы, пригоршню осколков схватив,
Ловим едва различимый мотив,
Но ускользает незримая нить –
С вечностью время не соединить.

Вот мы – «известные в узких кругах»,
Вечно в долгах, как в дырявых шелках,
В горьком похмелье на каждом пиру –
Рёбра открыты любому перу.
Вот мы. И каждый – не больше, чем стих.
И в раскалённых ладонях Твоих
Дудочкой хрупкой сгорает любой...
Вот же мы, Господи, - перед Тобой.

Мои двенадцать.

Они пришли – двенадцать человек,
Пришли, действительно, - стихи послушать.
Впотьмах метался ветер. Мокрый снег
Плевал в лицо, и сердце билось глуше.

И вот, когда, цепляясь и скользя,
Я заглянула в пасть пустого зала,
Они пришли – последние друзья,
Которых я почти совсем не знала.

Не дай мне Бог душою покривить,
Когда, последних слёз уже не пряча,
Пришедших я смогу благословить
Не словом, но – молчанием горячим.

Он притворялся, что ему нужны
Работа, дом... Он из глубин вины
Привык смотреть на жизнь. И, вероятно,
Он мог бы стать со временем вполне
Своим среди своих, когда бы не
Дорога - на работу и обратно.

Но путь его – отрезок на кривой
Дрожит готовой к бою тетивой
В тревожном ожидании и блеске.
Изменчивый и чистый, как ручей,
Мир смотрит мириадами очей
На бесконечном в глубину отрезке.

В нём гомон воробьёв и льдистый хруст,
И звон трамвая, и морозный куст,
Чьи ветви хрупким инеем одеты...
Весь обратившись в зрение и слух,
Он лёгок, словно тополиный пух,
Наполненный лишь воздухом и светом.

И вот, себе отсрочку отмолив,
Он ощущает времени отлив
От суетливых, но привычных буден,
И так свободно отплывает сам,
Коллегам, домочадцам и друзьям
Не то чтоб вовсе чужд, но – неподсуден.

Забыть поэта и заняться делом.

Поскольку он - никчёмный человек
С душой нелепой и неловким телом –
Он весь некстати, словно майский снег.

Забывать его! Он – просто недоучка,
Фигляр и неудачник, вечный шут.
Мы думали, он – непростая штучка,
А он и сам не знал, зачем он тут.

Забывать его. Он жил так неумело,
За пешку отдавал порой ферзя.

И, всё же, за неведомым пределом
Была его оправдана стезя.

От трескучей фразы на злобу дня,
Вишей холопских, бешеных тиражей,
Ангел Благое Молчанье, храни меня –
Губы мои суровой нитью зашей.

Лучше мне, измаявшись в немоте,
Без вести сгинуть, в землю уйти ручьём,
Чем, локтями работая в тесноте,
Вырвать себе признание – не важно чьё.

Лучше исчезнуть, попросту – помереть,
Быть стихами взорванной изнутри.
Только бы – перед ликом твоим гореть,
Только бы слушать, только б Ты говорил!

Только бы слушать, вслушиваться в шаги,
Свет Твой угадывать из-под прикрытых век...
Вечность во мне, прошу Тебя, сбереги,
Ибо я всего-то лишь - человек.

В час, когда сердце захлёстывает суета,
Требуя покориться и ей служить,
Ангел Благое Молчанье, замкни мне уста,
Чтобы мне перед Словом не согрешить.

В следующем мгновении
всё будет не так, как в этом:

всё переменится –
ветер,
облако,
тени,
даже стекло
иначе вспыхнет на солнце,
даже капля
чуть ниже согнёт травинку.
Не очень-то важно –
ты сделаешь то или это,
или – не сделаешь.
Всё равно всё изменится,
всё зазвучит по-другому –
голос,
музыка,
шёпот,
даже листья
залепечут о чём-то новом,
даже молчание
будет не тем, что прежде.
В следующем мгновении
всё будет совсем по-иному:
всё изменится –
взгляды,
жесты,
улыбки,
даже вкус,
даже запах хлеба,
даже цвет
камушка на дороге.
Ну конечно, всё будет иначе,
абсолютно и совершенно,
если только ты вдруг не заглянешь
вглубь мгновения *этого* –
в раскрывшуюся его бездну.

Что с тобою? – Ничего.
Просто листья облетают.
Листья – только и всего.
И летят бездомной стаей,
В шепот осени вплетая
Ритм круженья своего.

Мерный маятника счёт
На последнем перегоне...
Что там – нечет или чёт?
Только ветер глухо стонет,
Только время по ладони

Тонкой струйкою течёт.

Что с тобою? – Пустяки.
Сны бегут по коридору
Так изменчиво-легки.
Сквозняком блуждает в шторах
Камышей чуть слышный шорох
У неведомой реки.

Невесомый звёздный сор
Опускается на крыши,
Затихает резкий хор
Дел дневных. Лишь полночь дышит
И дыханием кольшет
Жизни тающий узор.

А моя-то соперница ждёт-пождёт,
У неё всё рассчитано наперёд.
Говорит: «Всё равно я своё возьму,
Всё равно разделю, разорву, отниму.

Помни, если я кого захочу –
Не мытьём, так катаньем получу.
И когда, от горя сходя с ума,
Ты ко мне придёшь, приползёшь сама,

Я ещё покуражусь из пустоты,
Чтобы власть мою понимала ты.
Как бы ни целовала ты горячо –
Я всегда стою за твоим плечом».

И шипит с ухмылкой: «Ты – пыль и прах!..».
Только за словами я слышу страх,
Потому что прекрасно знает она,
Что давно – и не мною – побеждена.

Я целый день толклась - варила суп,
Стирала, мыла, жарила котлеты...
Мир был вполне материально-груб,
И я его любила безответно.

Он мной повелевал и - так, и – сяк,
Он требовал трудиться то и дело.
А я любила – наперекосяк –
За всё, что в нём случайно подглядела:

За грустную ворону на трубе,
В которой сотню лет лишь ветер свищет,
За то, что этот юркий воробей
Вовсю решает свой вопрос жилищный

На нашем подоконнике, за то,
Что над иссохшим питерским колодцем,
Как будто чистой радости глоток,
Смех ласточек бесстрашных раздаётся,

За то, что даже горе – не беда,
За свет вечерний и дневные тени,
За то, что забываю иногда
Про повелительное наклоненье.

Вот уже третий год
в переходе метро
стоит это чудо:
Пальтишко потёртое,
согнутая спина,
на одутловатом лице
выражение
туповатой покорности,
а в давно немых руках
тетрадный листок:
«Помогите.
Умерла мама».
Пробегая мимо неё,
бросаю монетку,
морщусь:
-ну что ж она так,
хоть бы табличку сменила.
Потом
в вагоне грохочущем,
проталкиваемом в тоннеле
как бы небытия,
стою,
стиснутая телами
такими живыми и смертными,
смотрю в черноту окна.
И оттуда,
из космической проруби,
всплывает забытое слово –
Мама.

Утешь меня, пожалуйста, утешь

В моей почти пророческой печали,
В конце времён, а может быть,- в начале.
Горчит моё вино, и хлеб несвеж.

Утешь меня. Разбросанных камней
Всё больше, и тропа моя – всё уже,
И голоса из прошлого всё глуше,
А выстрелы – всё чаще и точней.

Услышь меня, пожалуйста, услышь.
Стада веков, пыли, проходят мимо
И размыкают несоединимо
Небытия седую глушь и тишь.

Услышь меня. Я принимаю бой –
Привычный мир растрескан и расколот,
И рвущийся снаружи смертный холод
Остановить возможно лишь собой.

Василию Рысенкову

Нынче вокруг колокольни полно стрижей.
Птичья забота – знай себе режь да шей.
Острым крылом возле моей щеки
Чиркни, как лезвием, тенью коснись руки.
Режь, перекраивай время, пространство, жизнь,
Резко ныряя, закладывая виражи,
Криком сшивая невидимые края,
Где из воздушной раны забьёт струя
Чистого света.

Что же, душа, учись.
Не сожалей, не бойся – пронзая высь,
Воздуха легче, стремительнее, чем стриж,
Над колокольней когда-нибудь ты взлетишь,
Чьей-то щеки почти коснувшись крылом,
Не вспоминая – в вечности – о былом.

И дал Господь мне слёзы наконец,
Чтоб я могла как следует оплакать
Небывшего крошащуюся мякоть
И бывшего стремительный свинец:

Всё то, чем я жила, но – не жила,
Чего и вовсе не было, но – было,
Всё то, что переплавил, сожгла,
И лёгким пеплом по ветру пустила.

Бывшему 12-му отделению РНИИТО

Я сюда пробилась сквозь толщу лет,
Чтобы к отражению своему
Подойдя, понять: это ни к чему.
Никого здесь нет, ничего здесь нет.

Ни обрывка смеха, ни пары слов –
Безвозвратно на вахту сданы ключи,
Только, может быть, иногда звучит
В коридорах эхо моих шагов,

Да сквозняк, свернувшийся за спиной,
Вдруг шепнёт: «...ты маску забыла снять...»
А на зеркало нечего мне пенять –
Не оно шутовству моему виной.

Меж немного праха – поющий прах –
Вышла вон, и вновь стою на ветру.
То ли, впрямь, везде я не ко двору,
То ли просто тесно мне при дворах.

Ну, так что же – список моих потерь
Смыло время – чистое, как вода...
- Извините, девушка, вы – куда?
- Я – отсюда.
Я закрываю дверь.

Ветер.

Ветер, спокойно дышащий за спиной,
Тихо колышущий сонные занавески,
Вдруг разворачивается – шальной,
Неудержимый, резкий.

Вот он кружится, закладывает виражи,
Сломанной веткой иероглифы чертит,
И налетает, и яростно треплет жизнь,
Балансирующую над смертью.

Трёхстрочия.

утром в небо взглянула,
а там - пустота:
ласточки улетели.

Пьяницы в сквере
Крошат хлеб голубям.
В городе лето.

Воробьишка подпрыгивает,
Топорщит пёрышки –
Желторотый ещё.

В солнечной луже
Купаются воробьи,
Плывут облака.

Солнце и ветер:
Во дворике на Петроградской
Шепчутся тени.

Ветер и дождь:
Под мокрым карнизом
Наохлился воробей.

Дремлет гранат на окне.
Над колодцем двора
С криками носятся ласточки.

Под шелест дождя на окне
Зреют гранаты –
Щедра петербургская осень.

В каждой линии дерева –
Всё совершенство творенья.
В каждой веточке – чудо.

Чайная роза
На фоне серой стены –

Пасмурный день.

Липа цветёт возле дома.
Снова коснулась меня
Золотистая радость.

Старая груша всё та же,
Что в моём детстве.
Время дремлет в ветвях.

Над бегущей водой
Стрекоза задержалась
Меж дрогнувшей тенью и светом.

В небе над крепостью –
Ласточки и облака.
Остальное проходит.

Древние башни
Грезят над тихой водой,
Отражающей небо и время.

Золотистая ящерка
На сосновом стволе
Замерла на мгновение.

Лес перед дождём
Притих и прислушался:
Трепещет осина.

Мастер.

Я говорю: «...коль будем живы, то...»,
А он – хохочет: «Да куда ж деваться?»

Рассчитываю эдак лет на сто,
И раньше не намерен я сдаваться.

Я строю дом для всей своей семьи,
И вам – ремонт... Заказов – до хренищи!»...
А за окном ноябрьский ветер свищет
И выдувает время. Дни мои

Летят, как листья. Но в его руках
Кипит работа, мир преображая,
Рассеивая мрак, сметая прах,
Как будто нам ничто не угрожает,

И смерти нет, и горе – не беда,
И мы тут – не случайны, не мгновенны...
Я говорю: «Так будем живы, да?»
И снова он смеётся: «Непременно!».

Я уважаю классиков,
преклоняюсь перед их мудростью,
восхищаюсь талантом,
глубиной слова и мысли,
ужасаюсь предвиденью.
Эти глыбы, эти тома
непостижимы,
всегда адресованы вечности.
Однако же, я их читаю
внимательно и серьёзно,
ведь я же – не варвар,
ведь я размышляю
о мире,
о людях,
о космосе внешнем и внутреннем,
о безднах
внутри самого человека,
и много ещё о чём,
поскольку
« cogito, ergo...»,
ну и так далее.
И, всё же, когда мне плохо,
плохо по-настоящему,
плохо без оговорок,
тогда,
словно в детстве,
я снова в руки беру
незатейливую,
простую до примитивности,
но такую чудесную
книжку
про капитана Блада.

И снова хочу жить.

Из написанного по заданию «Пенсил-клуба»

I

Один день из жизни мальчика.

А яблоки всё падают в саду,
И хилый мальчик, надрывая спину,
С религией и совестью в ладу
В свинарник тащит паданцев корзину,
И думает о чём-то на ходу.

... Чуть не забыл нарвать для кур травы...
Мать часто говорит: «в труде награда
Для сына бедной фермерской вдовы».
А дядюшка твердит, учиться надо...
Ах, если бы! Но мать права. Увы!..

О, если б можно было! Не играть
Он стал бы – это скучно, бесполезно –
Читать и механизмы собирать,
И Божий мир, безмерно интересный,
Всю жизнь в себя по капельке вбирать,

Рассматривать и размышлять. Ему
Уже открытых истин явно мало.
Когда бы можно было самому
Всё постигать! Вот яблоко упало,
И, как всегда – отвесно. Почему?

Но что за шум донёсся со двора?
Чьи лошади привязаны к ограде?
Ведь дядя был у нас позавчера...
Да, снова он. На мать сурово глядя,
Внушает ей :

– Послушайте, сестра,

Учиться парню надо, вот вопрос!
- Учиться, братец? Господи, помилуй!
Вы это, братец, видно, не всерьёз!
Ведь мы бедны... Бери-ка, Айзек, вилы,
И – марш на скотник убирать навоз.

- Но я договорился: будет он
Зачислен в колледж Троицы бесплатно.
Мальчишка удивительно умён!
Сестра, он нас прославит, вероятно,
Когда в науку будет погружён.

- Ну, коль бесплатно... я согласна, брат.
- А вместо платы будет он трудиться:
При колледже конюшни есть и сад...
Скажи, племянник, ты готов учиться?
- О, дядя! Да!
- Ну что ж, я очень рад.

Теперь же едем. Собирайся. Жду.
Смотри, учись старательно и честно,
И – веруй в Бога, да в свою звезду...

...И – в яблоко, что упадёт отвесно
В пока ещё неведомом саду.

II

Баскервили в свете третьего закона генетики

Прогресс приходит постепенно:
Не знали люди слова «гены»,
И говорили: «Несомненно
В нём есть фамильные черты».
Но, отдавая дань природе,
Монах горошек в огороде
Растит, и вот уже выходит
Генетика из темноты.

Да, Мендель изучал горошек,
Смотрел на кроликов и кошек,
Лепил мозаику из крошек,
Прикидывал туды-сюды.
А если б род аристократа
Он изучил, то, вероятно,
Продвинулись бы многократно
Его научные труды.

Вот Хьюго: эдакий проказник,
Драчун, безбожник, безобразник,
Устроивший из жизни праздник,
Законы преступив не раз.
Он – не исчадие геенны,
А просто – в нём играют гены,
И часть из них вполне нетленно
Потомству Хьюго передаст.

Но, к счастью, мудрая природа,
Как только породит урода,
Чтоб не давать уродству хода,

Часть генов погружает в сон.
Ведь если б ген был доминантен,
Мир стал бы крайне неприятен.
И каждый был бы будьте-нате –
Без вариантов – Степлтон.

1.

И каждый был бы агрессивен.
Но ген преступный рецессивен,
До времени вполне пассивен
В ячейках сонных хромосом.
Но по закону расщепленья,
Устав от благости и лени,
Он вспыхнет в энном поколеньи –
И запылает весь геном.

И потому авантюристы,
Наглы, речисты и плечисты,
Воня совестью нечистой,
Не переводятся никак.
Они везде ловчат, петляют
И преступленья замышляют.
Но Шерлок Холмс их вычисляет,
И Ватсон – тоже не дурак.

Не зная ничего о генах,
Дедукцией несомненной
Они раскрутят непременно
Всё это дело без улик.
Заметит сыщик, что похожи
У предка и потомка рожи,
Характеры их схожи тоже –
И вмиг ухватится за нить.

Мораль проста: на гадов разных,
Хитрющих, наглых, безобразных,
Пусть даже и совсем отвязных,
Способных прямо на разбой,
На всяких этих Степлтонов
Всё ж есть генетики законы,
И логика, и ум бессонный,
И винт с обратной резьбой.

III

Жёлтый конь

Я – старый конь, печальный конь,
Ржать не могу, как *геликон*,
Плюс – эта масть. Такая масть,
Что вы-то ржали просто всласть,
Месье и прочие мадам...

Хозяин нервничал: « продам».
Он мне скупился на овёс,
А я – к Судьбе его привёз.
И на каких бы скакунах
Потом ни гарцевал он – ах! –
Без статей жалобных моих
Сюжет бы вряд ли был так лих,
И так блестящ, и так остёр...
Конечно, я – не мушкетёр,
Не кардинал, не Бонасье,
И не мадам, и не месье.
Но, может быть, старшой Дюма
Метался и сходил с ума,
Решая, как ему начать.
Уже безумия печать
Коснулась лба, сгустился бред,
Разваливался весь сюжет.
И вдруг увидел он меня –
Смешного жёлтого коня,
И сразу понял: «О-ля-ля!
Опишет каждый короля:
Костюм...манеры.... Ерунда!
А жёлтый конь, вот это – да!»
Всё сразу встало на места,
И, с чистого начав листа,
Сомнений разогнав туман,
Он сел и написал роман.
Поэтому покорный ваш
Слуга – важнейший персонаж.
И вот, как медный *геликон*
Плюс раненый стрелою слон
Я протрублю вам на заре
В тональности, допустим, - «ре»,
Причём, конечно же – «минор»,
И пусть мне вторит громкий хор
Античных всяких голосов
Священных роц, полей, лесов,
Поющих на восходе дня:
«О, не забудьте про меня!».

Несерьёзные гекзаметры.

Некий могучий герой в священные Дельфы припёрся,
Там перед пифией он выю покорно склонил:
«Сил у меня до хрена, а умишка,увы, маловато...
Как же с пустою башкой подвиги мне совершать?»

Пифия долго тряслась, верхом на треножнике сидя,
И, наконец, изрекла волю великих богов:
«Кто тебе, смертный, сказал, что для подвигов надобен разум?
Радуйся, воин: тебе был бы помехою он».

– *Чтобы попасть в вечность, надобно иметь учеников.*
– *Да, и, по возможности, каждый день.*

Из разговора.

Муж многоумный решил в вечность пробраться украдкой,
Много извёл он чернил, бумаги попортил вотще.
И, вдохновлённый вполне, научную школу возглавив,
Сколь позволяло здоровье, учеников он имел.

Силы истратил в борьбе, задолбал до хренищи народу,
И, наконец, отошёл, в лаврах и званиях весь.
И, рассыпаясь во прах, в небытии растворяясь,
Всё же услышать успел вечности гулкий зевок.

На защиту кандидатской диссертации

Радуйся, о Эскулап! Рыдай от восторга, Гигея!
Тень Гиппократ, восстань, жертвенной крови испив!
Светлый ликует Олимп, пируют бессмертные боги –
Благоразумнейший муж нынче свой труд завершил!

Мучился долго герой, истине путь пролагая:
Тонны бумаги извёл, литры истратил чернил,
Зубы последние стёр, науки гранит подгрызая,
Перенапряг интеллект и насидел геморрой!

Музы, тащите венок! Украсьте разумного лавром,
Спиртом рабавив нектар, кубок вручите ему.
Мне же подайте скорей сладкоголосую лиру –
В заднице сильно свербит подвиг сей славный воспеть!

По мотивам притчи.

И.А. Воронкевичу

Доблестный рыцарь пешком пустынею знойной влачился.
Славы себе он искал, но не нашёл ни фи́га.
Шлем потерял он в пути, а также – коня и доспехи,

И в злоключеньях своих только лишь меч сохранил.

Мучаясь жаждой, он брёл. Вдруг видит – о чудо! – оазис,
Озеро светлое в нём манит прохладной водой.
Только вот на берегу трёхглавый дракон богомерзкий
Нагло разлёгся и путь тушею всей перекрыл.

Выхватив верный свой меч, рыцарь попёр на дракона,
Ну и трёхглавый ему спуску, конечно, не дал.
Бился три дня наш герой и две головы отчекрыжил,
Оба спеклись, наконец, и рядом упали без сил.

Пыхнул дракон из ноздрей и прохрипел, издыхая:
- Что тебе, собственно, здесь нужно-то было, чудака?
- Пить я хотел... - прошептал рыцарь, дыша еле-еле.
- Ну, так и пил бы себе! Кто ж тебе, дурень, мешал?

...Спросишь, а где ж тут мораль? И, я – таки, прямо отвечаю:
Путник, не будь дураком: не осложняй себе жизнь.

ЗОЖ.*

Ей-богу, я курить не собиралась,
И алкоголь я не употребляю.
Моё желанье было так невинно:
Всего лишь чаю с булочкой попить.

Но кто-то из моих родных и близких
Решил послушать новости. И голос
На удивленье радостный и бодрый
Буквально влил мне в ухо слово «ЗОЖ».

Как будто рой назойливо жужжащих
И жалящих мельчайших насекомых
Атаковал башку мою незримо,
И лезет прямо в мозг. И мозг – зудит.

Мне тут же опротивело движенье,
Причём – любое. Захотелось выпить
И затянуться крепкой папиросой.
Однако, не уснуть, не видеть снов,

Но, комнату наполнив едким дымом,
Отяжелив горой окурков блюдце,
Сидеть, глядеть в стакан остекленело,
И сочинять упаднический стих.

И вот он, вывод: не будите лихо,
Не трогайте, отстаньте от поэта.
Он сам себя с ума сведёт, а может
Быть на свободу выйдет из ума.

* распространённая аббревиатура – Здоровый Образ Жизни

После прочтения Аполлинэра.

Когда-нибудь люди, пишущие стихи,
наконец-то договорятся
и перебьют поэтов –
ad Gloriam Magnam...
Они попросту уничтожат
эту жалкую кучку юродивых,
постоянно пытающихся уловить
непонятно чей Голос.
Как будто нельзя
построить собственную маленькую станцию
и – вещать от себя,
включаясь по необходимости
в свободное от работы время.
Они избавятся, наконец,
от этих убогих, вечно собой недовольных,
высокомерных паяцев,
не желающих объединяться,
ожидающих вдохновения
откуда – то свыше.
Как будто так сложно вдохновиться,
и – писать в своё удовольствие
о себе и своих ощущениях -
самовыражаться
сколько душе угодно.
И вот, когда не станет поэтов,
всё усложняющих,
ставящих под сомнение
очевидные истины,
тогда отпадут все вопросы,
и нам станет ясно:
всё то, что в рифму – классика,
а остальное – верлибр.

...

Светлей и ярче гомон воробьиный,
Прохожие , слегка сутуля спины,
Бредут по гололёду чередой.
И кажется, что именно сегодня
Чуть-чуть запахло гарью прошлогодней
И талою водой –

Так тонко, так щемяще, так тревожно,
И душу подчиняет осторожно
Несбывшегося призрачная власть,
Как будто вдох – и будет всё иначе :
Влюблённость и надежда, и удача,

И карты – в масть.

А время сквозняком едва сочится
Над острой беззащитностью ключицы,
И странно вновь для жизни брать разбег –
Зарплату ждать, не сознавать утраты,
Сминая обречённо-сизоватый
Февральский снег.

Июньская зарисовка

Всё золотистой воздух. Комары
Уже звенят. А на былинке зыбкой
Кузнечик, разомлевший от жары
Настраивает крошечную скрипку.

Мальчишка удит рыбу для кота.
А кот сидит буддийски-равнодушен,
И жмурится: «всё в мире – суета...
Вот, разве, - рыбка... свежая... на ужин...

О! Стрекоза! Поймать бы... Но полёт
Её так резок... Ладно уж, не надо...
Вот лягушонок прыгнул. Пусть живёт...
А то – схватить?..»

Текучая прохлада

Кольшется над сонною водой,
Над влажными кустами. И мгновенье
Мерцает стрекозиною слюдой
И еле слышным смехом светотени.

Прощение.

Это всё уже было когда-то:
Подворотня, стена, водосток,
В пальцах старческих и узловатых
Слишком яркий пахучий цветок.

Эта слякоть и неразбериха –
Пестрота, а потом – нагота.
Словно птичье бездумное лихо,
Не мигая, глядит из куста.

Это было, конечно же, - было:
Бесприютность, бурьян, вороньё...
И, конечно, я снова простила
И опять отпустила её.

За безмерность печали и воли

Я простила, и ты ей – прости
Запах флоксов - кладбищенский, школьный,
И навязчивый вальс белоствольный,
И сквозняк в опустевшей горсти.

До конца октября жизнь ещё как-то теплится. Свет
Ещё дышит, смягчая сухие и жёсткие лица.
Воробей зачирикает, коротко тинькнет синица...
Словно задан вопрос, и готов непреклонный ответ,
Но не произнесён – и неловкая пауза длится.

Но всё строже деревья. И памятью долгих разлук
Застывают в изломе по-зимнему чёткие тени.
Так порядок времён замыкает последние звенья,
И в подмёрзшую лужицу с хрустом вминает каблук
Невесомую призрачность блоковской *воли осенней*.

Саше Джигиту

Ночь не слишком нежна. За ослепшим окном
Отрешённо и глухо стучит метроном.
Черноту переулка сжимают дома,
Там направо – сума, а налево – тюрьма.

Кто-то сходит с ума, кто-то - попросту спит...
Сквозняком отворённая дверь заскрипит,
И часов хриловато-раскатистый бой
Отзовётся в груди: «...Бог с тобой!.. Бог с тобой!..»

И умолкнет, и вновь в одичалой ночи
Метроном отрешённо и глухо стучит,
Так, как будто на звуки простые разъят
Напряжённый и яростный пульс бытия –

Ритм Вселенной, безмерное сердце её...
В межреберье нацелено остриё
Закалённого света неведомых звёзд.
Не проси, не надейся, вставай в полный рост –

Всё равно не укрыться за хрупким щитом.
Пой осанну шершавым от ужаса ртом!
И над бездной молчанья на миг удержишь,
Отражая собой беспощадную высь.

Едва очнёшься, а уже – зима:
Бесснежный холод, как заточка, острый
Покалывает вмёрзший в реку остров,
И ангелов, и тёмные дома.

Морозный ветер обрывает сны,
Грохочет жестью, лязгает засовом.
Имперские орлы, химеры, совы
Так беззащитны и обнажены.

И ты на остановке поутру
Торчишь мишенью чёткой и печальной,
Автобуса, как милости случайной,
Ждёшь - не дождёшься, куришь на ветру.

И жизнь, того гляди, перетечёт
В увядших листьев шорох невесомый,
В поспешные шаги и метронома
Размеренно-неумолимый счёт.

Таллиннский триптих.

I

В старом Таллинне,
маленьком, но глубоком,
на остатках портала церкви святой Катарины
время
потихоньку стирает с камней
виноградные лозы Христа,
лилии Девы Марии,
розетки, трилистники.
...in nomine Patris et Filii...
В воздухе влажном
растаяло эхо
давно отзвучавшей латыни
...et Spiritus Sankti...
Amen.
В открытом кафе
официант
предлагает попробовать пиццу,
стайка китайских туристов
оживлённо щебечет,
парень фотографирует
на фоне каменной ниши

подружку –
девица хихикает,
принимая картинные позы.
И только лишь птичка,
совершенно мне неизвестная,
поёт свою песенку –
такую незамысловатую –
в точности так же,
как семь столетий назад.

II

В старом Таллинне,
маленьком, но глубоком,
в магазинчике Antik Military
всё аутентично:
Офицерские сабли
и казацкие хищные шашки
настороженно замерли
в соседстве весьма оскорбительном
с немецкими касками,
зажигалками
и будильником советской эпохи.
Узкие лезвия,
обнажённые до половины
презрительно щурятся
на тонкорукых
татуированных юношей,
толстяков в коротких штанишках
и тому подобную фауну,
явно тоскуя
по ветру,
по терпкому поту
усталых коней
по ладоням горячим и жёстким
рук настоящих,
имеющих силу и право.

III

В старом Таллинне
Маленьком, но глубоком -
ливень,
растворяющий силуэты
башенок, башен и шпилей.
В открытых кафе -
пустота.
Сложены стулья,
мокрые тенты обвисли.
Вода
низвергается по водостокам,

подпрыгивая на камнях,
бежит по извилистым улочкам,
как по ущельям,
смывает с булыжников
чьи-то шаги,
взгляды – со стен,
с ярких витрин – отражения,
из каменных ниш
вымывает остатки
чудом застрявшего времени.
Прочь.
...show mast go on!...
Когда всё стихает,
по Ратушной площади
туристы снуют
как стремительные водомерки
по глади пруда –
по зеркальной его поверхности,
нисколько не интересуясь,
а что же там – в глубине.

Кошки приносят Богу своих мышей.
Английский бестиарий XIIIв

Кошки приносят Богу своих мышей –
Чистосердечную лепту трудов земных.
Бог гладит кошек между чутких ушей
И улыбается, благословляя их.

Слушает Бог, как мурлычут потомки Баст,
Смотрит на них сквозь клубящиеся века.
Он приютит и пушистые шубки даст,
В блюдце нальёт тёплого молока.

Пусть они ловят пришельцев из чёрных дыр –
Юрких мышей и серых зловещих крыс.
Пусть хранят урожай, украшают мир –
Тот, что над бездной капелькою повис.

Подражание Кедрину

...и это пройдёт...
надпись на кольце царя Соломона.

- Разведи нас, о царь! Разведи меня с женщиной этой!
Мне она отравляет последние ночи и дни,
В моём собственном доме мне нет ни покоя, ни света.

Сжался, царь, надо мной – на убогого старца взгляни.

Каждый день меня пилит, над немощью плоти смеётся –
Не найдёшь, я клянусь, в целом мире жены моей злей...
Царь, она меня бьёт всем, что под руку ей попадётся.
Ах, неужто же ты правоты не признаешь моей! –

Возвышаясь над всеми, блистая роскошным убором,
Царь являл своим подданным истинной мудрости лик.
Он взглянул на просителя, будто пронзил его взором,
И негромко промолвил: - Я думаю прав ты, старик.

- Государь, государь! Юной девушкой – чистой, прекрасной,
Я развратнику, моту родными была отдана.
Он бесплоден был сам, а меня обвиняли напрасно!
Всё растратил, всё пропил... А я теперь – злая жена!

Что ни день – то пиры, что ни день – то блудница другая...
Жизнь увяла и высохла, как полевая трава.
Неужели он прав, в нищету мою старость ввергая?
Государь, государь! Неужели же я неправы? –

И старуха заплакала со стриком своим рядом...
Царь, внимательно выслушав горькие эти слова,
Покачал головою, окинул несчастную взглядом
И сказал ей: - Не плачь. Ты права. Несомненно, права. –

Подошёл к Соломону тогда царедворец лукавый
И в поклоне согнулся: - Дозволь мне спросить, господин!
Разве могут противники быть одинаково правы?
Мне казалось всегда, правым может быть только один. –

Крепко стиснул кулак повелитель. И все замолчали.
Но кольцо сжало палец, и, словно мгновенно устав,
Царь ладонь опустил, преисполнен великой печали:
- Все мгновенны. Все правы. И ты в своей дерзости – прав.

*Но Иисус, склонившись низко, писал перстом на земле...
Евангелие от Иоанна (8;5)*

Ничего не осталось. Лишь – камни, камни,
Розоватые, помнящие всё и всех,
Глубоко вздыхающие под ногами,
Да ещё – рассыпчатый детский смех,

Да ещё – оливы и маки, маки,
Мимолётные, словно сама весна...
А Учитель, склонившись, всё чертит знаки –
Те никем не прочитанные письма.

Иаков

*И боролся Некто с ним до появления зари;
Бытие (32, 24)*

И Некто возгремел:

- Уже рассвет

Приблизился, дрожат твои колени.

Так отпусти же!

-Дай благословенье! –

Иаков прохрипел Ему в ответ.

И зубы сжал. И из последних сил
Упёрся в землю, обхватив за плечи
Из тесной плоти рвущуюся вечность.
И – устоял. И вновь – не отпустил.

И воздух разорвался:

- Кто посмел

Со Мной бороться? Кто ты?

-Я – Иаков. –

Цвет неба и земли был одинаков,

И одинокий куст во тьме шумел.

- Иаков ты? Сын Исаака?

- Да,

Иаков, уповающий на милость... -

Меж безднами плывущая звезда

Поблёлкла, помертвела, и – скатилась.

И был Господний ужас так велик,
Как может быть велик Господний ужас,
Небесная спираль сжималась туже,
И горло раздирал застрявший крик.

Но лёгким дуновеньем с высоты
Невидимых, неведомых ступеней:
- Пусти меня. Я дам благословенье.
И ведай, что боролся с Богом ты.

Да опочит Господня благодать
На имени, очищенном от праха!
Ступай, Израиль. И не ведай страха:
Ты будешь человеков побеждать.

И он побрёл, ступая тяжело,
Пытаясь привыкать к себе – иному,
К иной судьбе, к печали незнакомой,
К тому, что жив, а прошлое – прошло.

Рождалось утро. Золотистый свет
Стекал с небес легко и обновлённо.

И маки, раскрываясь изумлённо,
Мерцали уходящему вослед.

Давид и Мелхола

*Когда же входил Ковчег Господень в город Давидов, Мелхола,
дочь Саула, смотрела в окно, увидев царя Давида скачущего и
пляшущего перед Господом, уничижила его в сердце своём.*

Вторая Книга Царств (6; 16)

Воздух горячий хватая шершавым ртом,
Царь входит в дом и благословляет дом.
Мир всем! И только царица напряжена,
Как тетива, как натянутая струна.
Гневом и горечью Мелхолы полон взгляд,
И на губах чистейший вскипает яд.
- О, повелитель! – так она говорит –
Как отличился сегодня ты, царь Давид!
Как ты плясал в исподнем перед толпой,
Как ты скакал – не видел только слепой.
То-то глазели рабыни твоих рабов!
Все насмотрелись – вот государь каков.
Деться куда мне от ярости и стыда?.. –
Тёмный от пота, царь выдыхает:

- Да! –

Пылью покрытый, он переводит дух,
Словно и впрямь – пригнавший стада пастух.
- Буду плясать перед Господом, петь перед Ним,
Не потому лишь, что с юности Им храним.
Буду плясать и петь, но даже не потому,
Что был мой род Им предпочтён твоему.
А потому – ты зря изгибаешь бровь –
Что не один лишь страх, но – любовь, любовь
Переполняет сердце и гулко бьёт
В бубен груди. И сердце моё – поёт.
Пусть и не так ещё нынче унижусь –
Но перед Вечностью в пляске я закружусь.
Пусть я зачат в грехе и рождён в грехе –
Дышит любовь в каждом моём стихе.
Я убивал, и мне не построить Храм,
Но мои песни к звёздным летят мирам.
Только душе не дано обратиться в прах...
Жив мой Господь, и песни мои – в веках!

*«Что такое человек, что Ты столько ценишь его и
обращаешь на него внимание Твоё...»*

Книга Иова (7; 17)

Люди, любящие людей,
ненавидящие людей,
отнимающие чужие жизни,
готовые отдать свою.
Люди, размышляющие в одиночестве,
марширующие в колоннах,
созидающие и разрушающие,
лгущие,
алчущие и жаждущие правды,
жадные,
отдающие последнее,
жестокие,
милосердные,
торжествующие и несчастные.
Странники,
уходящие безвозвратно,
во временном – вечное.
Чем бы мы ни были для тебя, Господи, -
не покидай нас.

ВОРЁНОК*

Эх, яблочко, куда ты катишься...

Из песни

- Ишь, как пьёт детина – притомился, знать...
- А ссутулит спину, глянь, ну прямо тать.
- Обойди сторонкой, спрячь несытый взгляд:
Удавил ворёнка – потрудился кат.

- Да не пялься ты, дурак.
Для чего зашёл в кабак?
- Он, поди, не по злобе...
- А велели бы тебе?
- Что ты? Всем – свои труды.

- Доболтаешь до беды!
- Ах, типун тебе... Да сплюнь!
- Ты язык-то, слышь, засунь,
А не то – укоротят:
Стены слушают-глядят.
- Смолкни, Бога Ради!
- Все там будем, дядя.

А мальчонка хворьей, лёгонький, как пух.
Без того бы скоро Богу отдал дух.
Воронёнок просто... Видно – неходяч.
На руках к помосту нёс его палач.

Нёс, как в люлечке качал,
Чтоб не плакал – не кричал,
Маринкина ворёнка
Нёс к петельке тонкой:
«Спи, ворёнок, баю-бай.
Поскорее засыпай.
На земле темно и тесно –
Станешь ангелом небесным,
Будешь зреть Господню рать,
Райским яблочком играть.
Тихо, тихо, тихо...
И – не помни лиха».

- Славно или плохо – нам ли понимать,
Бабам лишь бы охоть – дуры... твою мать!
Разберутся выше, где и чья вина.
Так что ты – потише. И давай – до дна.

1.

- Наше дело – сторона,
Наливай, да пей до дна.
У кого мошна пуста –
Пропивайся до креста.
И – пляши, пляши, пляши,
Не жалея больной души!
Жизнь – копейка, а душа...
Так за ней же – ни гроша.
Кормят – ешь, а бьют – беги.
Вот такие пироги.
На свои гуляю –
Знать тебя не знаю.

- Яблочком, пожалуй, на-ко, закуси.
- Самозванцем меньше стало на Руси.
По столице нынче, слышь, колокола
Лебедями кличут – смута умерла!

Удавили не зазря –
Ради царства и царя
Маринкина ворёнка...
- Эж, выводит звонко!
- То-то будет тишина...
- Наливай ещё вина...
Пей, собака, говорю!
- Лета многие царю!
- Ну, а ты чего не пьёшь?..
Ах ты, гнида!.. –
Хвать за нож –
Вши из-под рубахи
Уползают в страхе.

Крови-то, кровищи – аж красно в глазах!
Плачет, плачет нищий. Кружит, кружит страх –
Воет, крутит, вертит... И, стремясь к нулю
Время слепо чертит мёртвую петлю.

Яблочку – катиться вниз,
Кто умеет – помолись
О душе ворёнка,
Ребёнка – воронёнка,
О себе и о стране,
И, о грешной, обо мне.

- Так называли сына Марины Мнишек и Лжедмитрия II (Тушинского вора); трёхлетний ребёнок был казнён в царствование Михаила Романова.

Семёновский плац.

Когда умолкает музыка
и стихают аттракционы,
что-то сдвигается:
Силуэты деревьев
истончаются,
становятся зыбкими
в бензиновой дымке,
в лучах заходящего солнца.
Вот тогда,
если внимательно вслушаться,
можно услышать,
нет, скорее, почувствовать,
как
сквозь обморочную тишину,
сквозь толщу времени
пробивается
издалёка

едва уловимая
барабанная дробь.

Буркнула сыну: «Под Котовского бы тебя
Надо подстричь!» - «А кто это? Кто таковский?» -
Мальчик спросил, удивлённо вихры теребя...
Надо же! Он не знает, кем был Котовский!

Парень читает книжки, смотрит кино,
Учится, вроде бы, и – без особой лени,
Знает про Фрунзе и про батьку Махно,
Знает, что были Сталин, Троцкий и Ленин.

Всяческих знаний – полная голова,
По математике почти в отличники вышел,
В умные фразы увязывает слова,
А о Котовском, оказывается, и не слышал.

Вот и «sic transit»... Кабы погиб на войне
Славный комбриг, или – пал жертвой репрессий,
Мог бы в школьный учебник войти вполне,
Упомянуться хотя бы порою в прессе.

Всё могло быть иначе, и даже – не чуть,
Если б жизнь озарилась иным финалом...
В мирное время, увы, завершил его путь
Выстрел – привет от одесского криминала.

Были, конечно, митинги и венки,
Толпы людей, тучи словесной пыли
(сам бы покойный ещё раз помер с тоски),
Были стихи – их тоже потом забыли.

Всё-таки, жаль: романтик, полубандит,
- Господи, как любила его удача! –
Посвист пух да перестук копыт,
Храбрость, напор, кураж. И – никак иначе!

Долг отдавая именно куражу, –
В нас для него почти не осталось места,
Я о Котовском мальчику расскажу,
Просто чтобы закваски добавить в тесто.

В Горках.

...и никто из них не был здесь счастлив...
(из разговора)

Зимний пейзаж в окнах морозных сжат,
Время клубится в доме, как лёгкий прах.
Тени скользят сквозь размытый свет витража,
Не отражаясь в зябнущих зеркалах.

Шелест за шторой: «Я строила этот дом...
Вы здесь – чужие...» И сквозняком за спиной:
«Я умирал слишком долго и трудно в нём».
И еле слышный вздох: « Женой – так женой..»

Первая тень по комнатам слепо кружит,
Тень вторая ругает плохую связь,
В пальцах у третьей стрелка часов дрожит,
И замирает, мгновениями давясь.

Первая тень ищет своих детей,
Тень вторая бормочет: «Я – не пастух...»
Книгу о жажде жизни, или – тщете
Третья тень монотонно читает вслух.

Только солнечный луч скользит по стене,
Только в дверях покачиваются ключи,
Да в вышине, а может быть – в глубине,
Над оснежённым парком ворон кричит.

*«...он поднял вдруг кверху левую руку и не то указал ею
куда-то наверх, не то погрозил всем нам. Жест был непонятен, но
угрожающ, и неизвестно, к кому и к чему он относился».*

Из воспоминаний Светланы Аллилуевой.

Неспешно разворачивался свиток,
И размыкалось времени кольцо,
В предсмертно искажённое лицо
С привычным страхом вглядывалась свита.
Но взгляд его блуждал. И, может быть,
Он видел не расплывчатые лица,
Не тех, кого он не успел убить,
А тех, кого – успел. Сквозь их глазницы,
Сквозь дыры в жёлто-серых черепах
К нему всей пустотой тянулась бездна.
Он умирал. И, обращаясь в прах,
Власть осыпалась пылью бесполезной.
Жестокость, воля, ум – всё ни к чему:
Никто не облегчит молитвой муку.
Он протянул немеющую руку
Туда, где угрожающе к нему

Из мглы склонялись призрачные тени.
Но свита видела лишь потолок...
И страшен был ветхозаветный Бог,
Однажды возвестивший: «Мне отмщение,
И аз – воздам».

Спи, команданте. Кто тебе судья?
Конечно же, не те, что между делом
В историю себя вписали мелом,
И скоро будут стёрты. И – не я.

Спи, команданте. Власти капитал
Так ненадёжен. Призрачна свобода.
И, всё-таки, она всегда у входа
Встречает тех, кто верить не устал.

Спи, команданте. Яростно рвалась
К нездешней справедливости эпоха.
С твоим последним, команданте, вздохом
Она ушла. И вечность началась.

Спи, команданте. Тот, Кто тебя ждал –
Не фраер. За неведомым пределом
Он спросит лишь: «А что ты в мире сделал?»
И ты ответишь: «Имя оправдал!»*

Смерть Хосе Рисаля*

Он разворачивается в падении:
Плечи,
 пробитая грудь,
 живот...

Подгибающиеся колени
Гасят резкий толчок вперёд.

Но сквозь вспышку горячей боли,
Сквозь наваливающийся мрак
Невероятным усилием воли
Он в развороте делает шаг.

И напряжённо звенят мгновенья,
Медля обратный начать отсчет,
Время сжимается.

Он
 в падении
Разворачивается на восход.

И разворачивается планета,

Вся нашпигованная свинцом.
Жизнь.
 Вселенная.
 Бездна света.
Запрокинутое лицо.

**Хосе Рисаль – филиппинский поэт, врач, философ, общественный деятель, революционер. Расстрелян в 1892г за участие в подготовке антииспанского восстания. Был поставлен спиной к расстрельной команде. После залпа сумел развернуться, чтобы упасть лицом вверх.*

Памяти Йоле Станишича

Книга,
сожжённая на спине у поэта,
расправляет страницы,
летит
над юностью, полной надежд,
над измученной молодостью,
изгнанничеством,
одинокостью смерти.
Голый остров внизу
поглощается тьмою,
размывается светом,
исчезает уже навсегда.
Книга летит.
Она так похожа на голубя,
стремящегося навстречу крылатым,
прорывающегося к своим.
Я закрываю глаза,
и откуда-то сверху,
а, может быть, - изнутри
звучит еле слышно
сербский старинный напев:
...тамо далэко..
 Палач.

Он выбрит, подтянут, а дома – жена,
Что ужин готовит и ждёт дотемна,
И всё-то она понимает,
И ласково так обнимает.

Она ему рюмку с устатку нальёт,
Посмотрит, как он торопливо жуёт,
Поправит хрустальную горку,
И выйдет стирать гимнастёрку.

Он вспомнит, что завтра – опять канитель,
Жену приобнимет: пора и в постель,
На детскую глянет кроватку,
Зевнёт и потянется сладко.

И всё хорошо, всё – путём у него.
Лишь матери он – никогда, ничего...
За сына привычно помолится мать,
А лишнего ей не положено знать.

Доктор Боткин.

- Вы, доктор, свободны и можете нынче уйти.
Здесь небезопасно – я добрый даю вам совет.
Солдаты озлоблены, знаете. Как ни крути,
А всякое может случиться...
Ну, что значит – нет?

Вам в этом семействе, простите, какая печаль?
Как будто вы не понимаете, в чём их вина...
Мальчишка, девицы... Поверьте, мне тоже их жаль.
И мальчик болеет, увы. Но ведь это – война!

На что вам они? Они к этому сами пришли.
Погибнуть зазя вместе с ними – да это же бред!
В конце концов, вы для них сделали всё, что могли,
Вам не в чем себя упрекнуть... Почему, доктор, – нет?

Не здесь, а в столице вы стольким сегодня нужны.
Но время идёт... Говорю вам: бегите же прочь!
Скажу откровенно: они тут все обречены.
Послушайте, доктор, кому вы хотите помочь?

Не делайте глупостей! Вы же ведь сами – отец!
Я не гарантирую... Я за вас, доктор, боюсь.
Там – жизнь и свобода. А здесь... Здесь один всем конец.
Вы разве не поняли?

– Понял.

– И что?

– Остаюсь.

Скрипач.

Памяти Муси Пинкензона

Вздрыгнула скрипка у мальчишеского плеча.
Офицер, прищурившись, смотрит на скрипача.
Офицер доволен: расстрел обещает быть
Даже забавным... Он успеет убить.
..О, в этих скрипках всегда такая печаль...
Он позволит музыке прозвучать.

Мальчик, не медли, сыграй что-нибудь! Поспеши!
Ну же, сыграй для сентиментальной души –
Что-нибудь нежное для немецкой души...
Он же сказал:

Понравится – будешь жить.

Что ты можешь, мальчишка, - маленький, как сверчок!..
К подбородку взлетает скрипка, к небу – смычок.
Самое главное – не опускать лица:
Мёртвых не видеть – матери и отца.

Ну же, сыграй ноктюрн, не сходи с ума.
Но горячей молитвы, мощней псалма
Словно взрывает пространство перед тобой:

**...это есть наш последний
и решительный
бой!..**

Это есть наш последний бой, наш последний – на землю – взгляд.
Дёргается в конвульсиях автомат,
Хриплым лаем захлёбывается другой.

...это есть наш последний и решительный бой!..

Это есть наш последний – разорванной грудью – вдох.
Он так глубок, что в него умещается Бог –
Бог, так похожий на твоего отца.
Смерти нет.

Есть музыка –
без конца.

ИЗБРАННОЕ ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ КНИГ.

Непрерывно, натужно, упорно
Сквозь рожденье, страданье и смерть
Наших жизней тяжелые зерна
Прорастают в небесную твердь.

А навстречу – легко и неровно
Дышит бабочки трепетный блик,
И полет её радостен, словно
В бесконечность распахнутый миг.

Я, скорее всего, просто-напросто недоустала
Для того, чтобы рухнуть без рифм и без мыслей в кровать –
Что ж, сиди и следи, как полуночи тонкое жало
Слепо шарит в груди и не может до сердца достать.

Как в пугливой тиши, набухая, срываются звуки –
Это просто за стенкой стучит водяной метроном.
Как пульсирует свет ночника от густеющей муки,
Как струится сквозняк, как беснуется снег за окном.

То ли это – пурга, то ли – полузабытые числа
Бьются в тёмную память, как снежные хлопья – в стекло.
Жизнь тяжёлою каплей на кухонном кране зависла,
И не может упасть, притяженью земному назло.

По осени я вспоминаю ту
Классическую стрекозу из басни,
И думаю: чем строже, тем напрасней
Мораль извечно судит красоту.

Пропела – ну какая в том беда –
Коротенькое праздничное лето...
Как хорошо! Хоть кто-то в мире этом
Не ведал безысходности труда.

В минуту вдохновения её
Создал Господь из воздуха и света,
И отпустил. И не спросил совета
У скучных и жестоких муравьёв.

noli tangere cyrkulus meos!
Архимед.

В перестуке колёс всё быстрее и злей –
Никого не вини, ни о чём не жалей,
Ни о чём не жалей, никого не вини...
А навстречу, как жизни чужие, - огни.

А навстречу – горстями мгновений – кусты,
Полустанки, заборы, сараи, кресты.

Это – деревья стон, это – скрип колеса...
Ах, прожить бы ещё полчаса, полчаса!

Ах, прожить бы ещё!.. головою тряхни –
Ни о чём не жалею, никого не вини.
Слышишь? – в ровном дыхании русских полей:
Никого не вини, ни о чём не жалею.

Это – сердце, сжимающееся во мгле,
Это – рюмка с отравой на грязном столе,
Это – в кранах бормочет слепая вода,
Это – по коридору шаги в никуда.

Это – времени бешеные виражи,
Это – «Бей, но не трогай мои чертежи!»,
Это лезвие ножи проводит черту
Сквозь ноябрьскую зябнущую наготу.

Так присвистни, потуже ремень затяни,
И судьбу, словно глупую птицу, спугни.
И под крики «Распни!», и под крики «Налей!»
Никого не вини, ни о чём не жалею.

- Не трогай мои чертежи

*...в Макондо идёт дождь.
Г.Г. Маркес. «Сто лет одиночества».*

Возвращаясь с работы, давно утратившей суть,
Ставшей чем-то вроде дурной привычки,
На маршрутке раздолбанной тащишься как-нибудь,
Выйдя под дождь, ищешь в кармане спички.

Чертыхаешься, чиркаешь раз этак десять подряд,
Чувствуя, как простуда гнездится в теле,
Передёрнув плечами, стряхиваешь чей-то взгляд,
И, наконец, прикуриваешь еле-еле.

Вспоминаешь, что завтра – ну надо же – выходной.
Впрочем, от выходного немного толку...
(Загустевшее время ворочается за спиной,
Щурится, подглядывает сквозь щёлку.

За углом оно снова движется по прямой,

Жгучее, словно кто-то его расплавил)...
Покупаешь батон и спокойно идёшь домой:
Не приходит домой – это против правил.

И в вопросе «Ну, как дела?» почувствовав ложь,
Точнее источник какой-то бодренькой фальши,
Хочешь убить. И, зная, что не убьёшь,
Улыбаешься.
Моешь полы.
И – живёшь дальше.

Памяти Виолетты Абрамовны Ведерниковой –
моей учительницы музыки.

Девочка в музыкальном классе
Едва высиживает за инструментом
Положенное для урока время:
Она уже отбарабанила гаммы,
Она несложный ноктюрн сыграла,
И за часами следит украдкой.
Нет, музыкантом она не станет.

Учительница, как печальная фея
С именем сказочным и певучим,
Слегка покачивает головою
И говорит: « У тебя такие
Лёгкие руки, послушные пальцы,
Играешь ты достаточно бегло,
Быстро схватываешь всё, что нужно
И только терпения не имеешь,
И не умеешь паузы слушать»
Взяв карандаш, она прямо в нотах
Над паузой пишет слово « Дослушать!»

Женщина, притащившись с работы,
Семью накормив и посуду вымыв,
Робко присаживается к фортепиано,
И, разогрев непослушные пальцы,
Играет ноктюрн довольно коряво.
Заметив над паузой слово « Дослушать!»,
Слушает, как между двух аккордов
Падает жизнь, замирая эхом,

Как тишина поглощает время,
И еле слышно вздыхает вечность.

Наставление сыну.

Не копи барахла. Ты немного удержишь в руке.
От погони, к тому же, вернее уйдёшь налегке.
И запомни ещё то, что я повторяла не раз:
Ни одна из вещей никогда не заплачет о нас.

Одевайся лишь в чистое – мы ведь не знаем с тобой,
И не знает никто, когда примет последний свой бой.
В Бога веруй, и кланяйся только Ему одному.
У людей не проси. Подрастёшь – сам поймёшь, почему.

Если надо – дерись до конца. Но лежачих не бей.
Уважай всех крылатых – ворон, воробьёв, голубей.
И зверей уважай – помни, что и у них есть душа,
И всегда за душой – что у них, что у нас – ни гроша.

И ещё: если сможешь, стихом никогда не греши –
Всё в бумагу уходит. Очнёшься, вокруг - ни души.
Лучше просто живи, не жалея ни сил, ни огня...
По родительским дням поминай, если вспомнишь, - меня.

То, что я есть.

*То, что я есть, заставит меня быть
В. Шекспир («Конец – делу венец»)*

То, что я есть – в ночи крадущийся тать,
Карточный шулер с драными рукавами.
То, что я есть, заставляет меня хохотать,
Петь, исходить рифмованными словами.

То, что я есть, колпаком дурацким звеня,
Пляшет на самом краю карниза.
То, что я есть, шкуру сдирает с меня,
И уверяет, что это – закон стриптиза.

То, что я есть, славу любви трубя,
Яростно шепчет через барьер столетья:
*Знаешь, я никогда не любила тебя.
Больше того – никогда не жила на свете.*

То, что я есть, всем и всему назло
Строит в ночи мосты, а с утра – взрывает.
То, что я есть, заставляет вращать в седло

Именно когда из него выбивают.

То, что я есть, словно летучая мышь,
Криком своим пробивая в пространстве дыры,
Слепо летит и слушает эхо. Лишь
Эхо – свидетель существования мира.

То, что я есть, желая себя разбить,
Мечется нелепо и неосторожно.
То, что я есть – меня заставляет **быть**,
И тут изменить уже ничего невозможно.

Они рассуждали:
хитрый – о честности,
трусливый – о мужестве,
бездарный – о вдохновении.
А равнодушный так говорил о любви,
что аж заходило сердце.

Они призывали:
благополучный – к терпению,
злой – к милосердию,
к щедрости – жадный.
Ну а бездельник так пел славу труду,
что прямо руки чесались.

Они упрекали:
лжецы – в недоверии,
любопытные – в сдержанности,
эгоист – в неготовности к жертве.
А безбожник, тот просто разил наповал
цитатами из Писания.

И вот, постарев,
поседев в безнадежной борьбе с энтропией,
устав от привычной сансары,
я вспомнила вдруг, что в учебнике –
обычном учебнике
военно-
полевой хирургии,
сказано чётко:
«спеши не к тому, кто кричит –
к тому, кто молчит».

Полковнику никто не пишет.

Г.Г. Маркес.

Полковник, я больше не жду известий.
Стоя на мосту через Лету,
Я подбрасываю монету –
Решка который раз.
Конница с ходу берёт предместье,
Ночь ползёт, размыкая звенья.
Жизнь, как выход из окруженья –
Это, увы, про нас.

Право же, что-то вокруг не ладно:
Как-то зябко и очень сыро,
Шифры раскрыты, на карте – дыры,
В метеосводках - бред.
Враги ленивы, друзья прохладны,
Тех и других вспоминаю редко,
Память – словно бы рейд в разведку,
В мир, которого нет.

Вчера весь вечер я жгла бумаги:
Письма, которые не написала.
Сон полустанков, печаль вокзала –
В печку за томом том.
Возможно, мне не хватило отваги,
Возможно – времени или силы...
(Судью и весь трибунал – на мыло!)
А впрочем, я не о том.

Послушайте, мой расстрел затянулся:
Кто из наряда больной, кто – пьяный,
Ружья сломаны постоянно,
Порох не подвезли,
Писарь вовремя не проснулся...
Пора уже дело брать в свои руки:
Маятник страха и смертной скуки
Выбить коротким «Пли!».

Наши победы немного значат,
Даже если дорого стоят,
Выжить, прославиться – всё пустое.
Лишь в поражении – шанс.
«Месяц светит, котёнок плачет»,
Вечность падает вглубь мгновенья,
Ветер никак не стихает, и тени
Отплясывают брейк-данс.

Я – всей душою горя и любя.
Мне же в ответ: «Пойми,
Со стороны посмотри на себя –
Стыдно перед людьми».

И на смиреннейшее «Прости!» –
Дрожь покрасневших век,
Вздых: «Ну когда ты себя вести
Будешь как человек!»

И на отчаянное «За что?» –
Лишь поворот спиной:
«Люди выносят ещё не то –
Так что терпи, не ной».

На вдохновение и на труд –
Только усмешка: «Что ж,
Знаешь, как люди умеют? – А тут
Просто твой выпендрёж».

Но дожила, дождалась наконец –
Знамя победы, рдей! –
Я – с ерундою, а мне: «Молодец!
Всё - прямо как у людей».

Кажется, в гору пошли дела,
А на душе – грешок:
Вроде и впрямь людей провела –
Как-то нехорошо...

Разоблачат – и взведут курки...
Так вот и стой в полный рост,
Пряча то крылышки, то клыки,
То чешую, то хвост.

Хроника одного вечера.

Стих подпирал. Он должен был явиться,
Он был готов к рождению вполне.
Как всякой Божьей твари угнездиться
Для оной цели нужно было мне.

Домой нельзя, там оседлают сходу,
Но – не беда: полно кафе окрест...
Зашла в одно, а там полно народу.

И все едят. И нет свободных мест.

В другом – невыносимо, беспрестанно
Гремел динамик, слух терзая мой...
А третье было мне не по карману.
Я плюнула и побрела домой.

На кухне – звон и резкий визг соседки,
А в комнате – счастливый теле-сон.
И, пометавшись, будто волк по клетке,
Я потихоньку выскользнула вон.

На набережной села на ступени,
Но, видно, неудачен был момент:
И страж порядка, полный подозрений,
Навис и попросил мой документ.

Ну, что ж – с собою паспорт, слава Богу.
Всмотрелся. Криминала не нашёл:
Сижку, пишу... Взглянул довольно строго,
Но – разрешил. И с важностью ушел.

И снова я распутываю нити,
Хватаю ускользящий кураж...
Вдруг чей-то голос : «Выпить не хотите?» -
И пальцы выпускают карандаш.

Оглядываюсь: пара пожилая,
Уже «под газом», но ещё – вполне,
Друг друга через слово посылая,
Усердно ищет истину в вине.

1.

«У нас сегодня дата: двадцать восемь...
И всё живём! Я – дура, он – подлец...
Ну, выпейте за нас! Мы очень просим!
Иначе – разругаемся вконец».

Я поняла, что чаша не минует.
Блаженны миротворцы!.. Сгинул стих.
И долго-долго исповедь дурную
Я слушала, и утешала их.

Стемнело. Я уйти заторопилась,
Но различила сказанное вслед:
«И всё-таки, она бы утопилась.
Записку дописала б – и привет!

Мы – вовремя... Их много тут – с приветом...»
Вот это – приговор! И нечем крыть.
Ведь если я могу не быть поэтом,
То кем угодно я могу не быть.

Осколки.

За моря летит синица,
Петушка несёт лисица,
Вьётся ленточка в косице
Смыслу здоровому на зло.
В облаках темна водица...
Отражая наши лица,
Вдрызг пытается разбиться
Удручённое стекло.

По Европе призрак рыщет
И даёт умищам пищу,
Профессиональный нищий
Требует отнюдь не грош,
А не менее, чем тыщу...
В подворотне ветер свищет,
И, мелькнув средь толковища,
Новых ножен ищет нож.

Снится суженый девице,
Старику совсем не спится,
В колесе мелькают спицы
Дни и ночи напролёт.
Кто-то пьёт и веселится,
Кто-то хочет удавиться,
Но до судорог боится,
И поэтому – живёт.

Стрелки на часах уснули,
Показав большую дулю,
Со смещённым центром пуля
Попадает в новый век.
Волки зайцев обманули,
И в бараний рог свернули...
Спи, пока воркуют гули,
И кружится белый снег.

Я хочу купить розу.
Хочу купить розу,
Как будто желаю дать шанс
Больному рабу -
Просто шанс умереть на свободе.
Хочу купить розу,
Но каждый раз что-то не так:
Не то, что нет денег,
Не то, чтоб последние деньги,
Но просто есть множество

Необходимых вещей.
Так много вещей.
И снова цветов остаётся
У смуглых лукавых торговцев
За пыльным стеклом.
А я ухожу,
Продвигаясь всё дальше и дальше,
В то время когда,
Я и впрямь на последние деньги
Куплю себе розу.

Дымной тенью, тонкой болью
С явью сон непрочно шит...
Привкус горечи и соли –
Одинокий воин в поле
За судьбой своей спешит.

Словно бы неторопливый
Мерный бег, широкий мах.
Птица стонет сиротливо,
Тускло вспыхивает грива,
За спиной клубится прах.

Бесконечен щит небесный,
Безвозвратен путь земной –
Обречённый и безвестный...
Голос ветра, голос бездны,
Голос памяти иной.

Воин в поле одинокий,
Дымный морок, млечный след...
Гаснут сумерки и сроки,
В омут времени глубокий
Льёт звезда полынный свет.

*...Плащ распахнут, грудь бела,
Алый цвет в петлице фрака.
А. Блок «Пляски смерти»*

А нынче и упырь уже не тот –
Ни фрака, ни плаща, ни склянки с ядом,
Но никуда не делся он, и рядом
С живыми существуя – не живёт.

Уверенные жесты цепких рук,
И к власти неустанное стремленье...

Дезодорант скрывает запах тленья,
А хруст купюр – костей мертвящий стук.

Презрительно кривится тонкий рот,
Но словно из кладбищенской ограды
Могильная дыра пустого взгляда
Порой нездешним холодом пахнёт.

И снова всё по-прежнему, всё – ложь...
И лишь поэт нечаянно услышит,
Как нынче тишина неровно дышит,
Едва уняв испуганную дрожь.

Получив от судьбы приблизительно то, что просил,
И в пародии этой почуяв ловушку, издёвку,
Понимаешь, что надо спасаться, бежать, что есть сил,
Но, не зная – куда, ковыляешь смешно и неловко.

Вот такие дела. Обозначив дежурный восторг,
Подбираешь слова, прилипаешь к расхожей цитате.
Типа «торг неуместен», (и правда, какой уж там торг!)
Невпопад говоришь, и молчишь тяжело и некстати.

А потом в серых сумерках долго стоишь у окна,
Долго мнёшь сигарету в негнущихся, медленных пальцах.
Но пространство двора, водосток и слепая стена
Провисают канвою на плохо подогнанных пьльцах,

Перспективу теряют и резкость, и странно - легко
Истончаются, рвутся, глубинным толчкам отвечая...
И вскипает июль. И плывёт высоко-высоко
Над смеющимся лугом малиновый звон иван-чая.

*... и Цинциннат пошёл среди пыли и падающих
вещей ... направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли
существа, подобные ему.*

В. Набоков «Приглашение на казнь»

Как ты нелеп в своём мученическом венце!..
Нужно было тренировать почаще
Общее выражение на лице,
Притворяться призрачным, ненастоящим.

Шаг с тропы – и проваливается нога,
Чья-то плоская шутка – мороз по коже.
Каждое утро – вылазка в стан врага.
Вечером жив – и слава тебе, Боже!

Осторожнее! Ведь и сейчас, может быть,
Жестом, взглядом ты выдаёшь невольно
То, что ты *действительно* можешь любить,
То, что тебе *в самом деле* бывает больно.

Вещи твои перетряхивают, спеша.
Что тебе нужно? – Ботинки, штаны, рубаха...
Это вот спрячь подальше – это душа,
Даже когда она сжата в комок от страха.

Над головами - жирно плывущий звук:
Благороднейшие господа и дамы!
Спонсор казни – салон ритуальных услуг!
Эксклюзивное право размещения рекламы!

И неизвестно, в самый последний миг
Сгинут ли эта площадь, вывеска чайной,
Плаха, топор, толпы истеричный вскрик –
Весь балаган, куда ты попал случайно.

«Мы тут все хороши, пока всё хорошо,
А задень интересы – иной разговор:
На такое нарвёшься – сотрут в порошок...» -
Докурив, он рывком передёрнул затвор,

И зевнул: «Я тебе – друг, товарищ и – волк.
Пусть считают меня дураки – подлецом.
Наплевать!..» - так сказал человек, и умолк,
Тяжелея и отвердевая лицом.

Но другой рассмеялся: «Всё правильно, брат!
Нынче воздух до боли пронизан весной –
Не наполнится слух, не насытится взгляд...».
И шагнул, повернувшись беспечной спиной.

Мир дышал на разрыв, шелестел и звенел,
Человек по ладони раскрывшейся шёл.
И дрожал у него меж лопаток прицел,
И отбрасывал солнечных зайчиков ствол

Когда революция выжрет своих
Детей – романтичных убийц, поэтов,
Идеалистов, и память о них,
Что называется, канет в Лету,

Когда уйдут её пасынки – те,

Которые, выйдя откуда-то с боку,
Ловят рыбку в мутной воде
И поспевают повсюду к сроку,

Когда сравниются нечет и чёт,
И козырь – с краплёною картой любой,
И обыватель вновь обретёт
Счастье быть просто самим собою,

Когда добродетели и грехи,
И неудобовместимые страсти,
В общем раздутые из чепухи,
Станут нам непонятны отчасти,

Когда перебродит в уксус вино,
И нечего будет поджечь глаголом,
Придёт поколение пехт. И оно
Выберет пепси-колу.

Он сорвался с цепи, и пробежал всю ночь, а к утру
В неприкаянном ужасе, странно-глухом и невнятном
Заскулил, заметался, но вспомнил свою конуру,
И с поджатым хвостом потрусил виновато обратно.

Кто придумал красивую фразу: «Свобода иль смерть!»?
Кто сказал вообще, что есть выбор подобного рода?
Расшибая хмельную башку о небесную твердь,
Неразлучно со смертью гуляет земная свобода.

Бесприютен желанный простор. И чем больше луна,
Тем теснее внутри – в средостении тёплом и тёмном,
В закоморочке сердца... Но так беззащитна спина
У того, кто бредёт одиночеством этим огромным.

Я полю посвятить хотела стих,
Но ветер, что коснулся губ моих,
Дышал полынью и горчил едва.
И были не нужны мои слова
Ни ящерке, мелькнувшей меж камней,
Ни солнечному пятнышку на ней,
Ни травяной вздыхающей волне,
Ни птице, распростёртой в вышине.

И стих лесной был в общем-то неплох,
Но разомлел грибною прелью мох,

И тонкий стебелёк был так раним,
И шмель гудел задумчиво над ним.
А жизнь вскипала музыкой с листа,
Срывалась сонной каплею с куста,
Преображая ужас - в благодать...
Мне никогда такого не создать,

Не выразить, не удержать в зрачках,
В рассыпанных осколках, черепках.
Ни жаром сердца, ни игрой ума
Не сотворить, поскольку я сама –
Лишь только эхо, шёпот тростника,
Чуть слышный стон примятого цветка,
Смех земляники в спутанной траве,
Шальная мысль в Господней голове.

Подари мне ещё десять лет,
Десять лет,
Да в степи,
Да в седле
В. Соснора « Обращение ».

Всё спокойней, ровнее и тише
Дышит полдень, и, солнцем прошит,
Сизоватый бурьян Прииртышья
Под копытами сухо шуршит.

А каких я кровей – так ли важно
Раскалённой степной синеве...
Голос резок, а песня – протяжна,
И кузнечик стрекочет в траве.

Ни друзей, ни далёкого дома –
Только стрекот, да шорох, да зной.
Без дорог за черту окоёма
Седока унесёт вороной.

Бросить повод, и руки раскинуть,
И лететь, и лететь в никуда –
Затеряться, без имени сгинуть,
Чтоб – ни эха, и чтоб – ни следа.

Вот я, Господи, - малая точка
На возлюбленной горькой земле,
И дана мне всего лишь отсрочка –
Десять жизней – в степи и в седле.

Лошадь идёт по дорожке притихшего парка,
Листья летят и щекочут ей чуткую спину...
В еле заметную ниточку первая Парка
Молча вплетает осеннюю паутину.

Вся неприютность, потерянность нашего рая
Сжата в коричневых завязях будущих почек...
Лошадь идёт по дорожке. И Парка вторая
Нить измеряет и сматывает в клубочек.

Время дрожит светотенью, и, всё-таки, длится
Так осязаемо-плотно и неуловимо...
Лошадь идёт по дорожке. И третья сестрица
Лязгает сталью.
И снова – сослепу – мимо.

Земляника во рву
Меж разморенных солнцем камней -
Раздвигая траву,
Я, как ветка, склоняюсь над ней.

Пулемётным свинцом
Время скосит меня – ну и пусть.
Помертвевшим лицом
В земляничную россыпь уткнусь.

Недописанный стих
Обречённо вздохнёт у плеча...
На ладонях моих
Земляничная кровь горяча.

Лишь вечер выйдет за порог,
И щёлкнет ключ в замке -
Серебряный единорог
Спускается к реке.

И еле слышно в лунный щит
Ладонью бьёт волна,
И ветер кожу холодит,
И длится тишина.

И напряжённее струны
Дрожит воздушный мост,
Сияют, в гриву вплетены,

Лучи далёких звёзд.

Мерцает серебристый свет,
Стекая по спине,
И свет иной ему в ответ
Вздыхает в глубине.

Плывёт воздушный хоровод,
Струится млечный ток...
Он в воду медленно войдёт.
И сделает глоток.

И в вышину протянет взгляд,
Пронзая звёздный прах,
И капли света зазвонят
На дрогнувших губах.

И полетит высокий звон
В чужую ночь, во тьму,
Чтоб улыбнулся ты сквозь сон
Неведомо чему.

...оттого, что лес – моя колыбель, и могила – лес.
М.Цветаева.

Я прошу тебя: никогда
Никогда не входи в мой лес –
Там в озёрах темна вода,
И на каждом стволе – надрез.

И течёт густая смола,
И зелёный побег узлом
Завязался, где я ползла
И кровавила бурелом.

Потому, что – такой расклад.
Потому, что – ничья вина.
Потому, что тяжёл приклад,
И рука твоя – неверна.

Льдистой горечью бьют ключи
По оврагам, где я кружу.
Потому, что я жду в ночи,
А дождавшись – не пощажу.

Оборвётся нательный крест,
Упадёт в сырую траву...

Никогда не входи в мой лес,
Даже если я позову.

Охлюпкой, стараясь не ёрзать
По слишком костистой спине,
Я в Богом забытую Торзать
Въезжаю на рыжем коне.

Деревня глухая, бухая,
Вблизи бывшей зоны. И тут
Потомки былых вертухаев
Да эков потомки живут.

В пылище копаются куры,
Глядит из канавы свинья:
Что взять с городской этой дуры?
А дура, понятно же, - я.

А дура трусит за деревню
Туда, где и впрямь до небес
Поднялся торжественно-древний,
Никем не измеренный лес.

Где пахнет сопревшею хвоей,
Где тени баюкают взгляд,
И столько же ровно покоя,
Как десять столетий назад.

Где я ни копейки не значу,
А время, как ствол под пилой,
Сочится горючей, горячей
Прозрачной еловой смолой.

Снег февральский запёкся в лёд,
А тебе лишь одно – вперёд,
А тебе лишь одно – держись!..
Бесконечность – и вширь, и ввысь.
Лишь бы только выдержал наст,
Лишь бы только – в последний раз,
Лишь бы только – ещё прыжок...
Это всё – ничего, дружок.
Это – поле и дальний лес,
Чьи-то тени наперерез,
Даль, сужающая зрачки,
Хриплый лай, сухие щелчки,
Льдинка, схваченная на бегу,

Боль, взорвавшаяся в боку,
Привкус ржавчины на губах,
Голой ветки прощальный взмах.
Это на краю пустоты
В чьё-то горло вцепился ты,
Захлебнувшись собственной кро...
Это звёздное серебро
Потихоньку течёт с небес,
Заливая уснувший лес,
Пробирается сквозь кусты,
По сугробам скользит, где ты
Словно вытянулся на бегу
И застыл на сизом снегу,
Гасит боль, прощает вину,
И летит назад, в вышину,
И в мерцающих облаках
Оставляет последний страх.

Идиллический сон.

Мне приснилась жизнь совсем иная,
Так приснилась, будто наяву:
Лошади вздыхают, окуная
Морды в серебристую траву.

До краёв наполнив звёздный улей,
Светлый мёд стекает с тёмных грив.
На земле табунщики уснули,
Сёдла под затылки подложив.

Светлый пот блестит на тёмных лицах,
На остывших углях костерка,
Склеивает сонные ресницы
И былинки около виска.

Спят они, пока вздыхают кони.
Вздрагивая чуткою спиной,
И полны ещё мои ладони
Горьковатой свежести ночной.

Спят, пока обратно не качнётся
Маятник мгновенья, и пока
Хрупкого покоя не коснётся
Снов моих невнятная тоска.

Когда сквозь дым и суету,
Сквозь запах шашлыка и пива

Размытым берегом залива
Я безнадежно побреду

По серому песку,
Тогда
В случайном и нестройном хоре
Я вдруг услышу голос моря -
Непостижимый, как всегда.

Прорежет воздух птичий крик,
И ветер, чешущий осоку,
Очнется и взлетит высоко.
И запоет иной тростник.

Иной –
 о яростных мечтах,
О чёрных кораблях смолёных,
Мечах, от жажды раскалённых
И медноблещущих щитах.

О том, как, разбиваясь вдрызг,
И возрождаясь без потери,
Иные волны хлещут берег
Осколками счастливых брызг.

Ultima thule.*

Бредя коридорами долгой ночи,
Проулками строчек и междустрочий,
Сжимая пальцы в кулак,
Душу выкручивая из тела,
О чём я тебе рассказать хотела –
Теперь не вспомнить никак.

О том, как прекрасны чужие лица :
Кто-то всерьёз собрался жениться,
Кто-то – ложиться в гроб.
Кто-то едет в Париж или Ниццу,
Кто-то в руках задушил синицу –
А не пиццала чтоб.

О том, что в комнате – неразбериха,
Что в зазеркалье тихое лихо
Дремлет тысячу лет,
О том, что рассвет истончает тени,
А жизнь в сослагательном наклонении –
Это полнейший бред.

В шторах – сквознячная пантомима,
Вещи меняются неуловимо:
Шкаф навис, как скала,

Дыбом шерсть на спине дивана,
И желтозубое фортепьяно
Скалится из угла.

Странный шум за стеной сырою –
Словно бы в обреченную Троию
Вкатывают коня.
Даже не соблюдая приличий
Мир меняет своё обличье
И вытесняет меня

К зеркалу, к самой стеклянной кромке,
Там, где жемчужно дробится ломкий,
Неуловимый свет.
Тени выстроились в карауле.
Просто это – ultima thule.
Дальше земли нет.

Кто изнутри о зеркало бьётся,
Смотрит из глубины колодца,
Расширяя зрачки?
Кто там смеётся беззвучным смехом?
В сердце моём отдаются эхом
Сердца его толчки.

Резкий удар о ладонь - ладони,
Медленно погружается, тонет
В бесконечности взгляд.
Воздух ещё меж нами трепещет,
Но за спиною теснятся вещи,
Путь преграждая назад.

Я не вернусь. Моё время сжалось.
Кровь двойника с моею смешалась.
Я закрываю счёт.
Звон стекла, фейерверк осколков...
Первый шаг – больно. Второй шаг – колко.
Третий – уже полёт.

*крайняя земля.

По чьему приговору умирают миры?
За дощатым забором золотые шары
Нагибаются, мокнут, и в пустой палисад
Непромытые окна равнодушно глядят.

Тёмно-серые брёвна, желтоватый песок,
Дождь, секущий неровно, как-то наискосок,

Мелких трещин сплетенье, сизый мох на стволе,
И моё отраженье в неразбитом стекле.

Это память чужая неизвестно о чём
Круг за кругом сужает и встаёт за плечом,
Это жёлтым и серым прорывается в кровь
Слишком горькая вера в слишком злую любовь.

Слишком ранняя осень, слишком пёстрые сны,
Тени меркнущих сосен невесомо длинны,
И прицеплен небрежно к отвороту пальто
Жёлтый шарик надежды непонятно на что.

*...в Макондо идёт дождь.
Г.Г. Маркес. «Сто лет одиночества».*

Возвращаясь с работы, давно утратившей суть,
Ставшей чем-то вроде дурной привычки,
На маршрутке раздолбанной тащишься как-нибудь,
Выйдя под дождь, ищешь в кармане спички.

Чертыхаешься, чиркаешь раз этак десять подряд,
Чувствуя, как простуда гнездится в теле,
Передёрнув плечами, стряхиваешь чей-то взгляд,
И, наконец, прикуриваешь еле-еле.

Вспоминаешь, что завтра – ну надо же – выходной.
Впрочем, от выходного немного толку...
(Загустевшее время ворочается за спиной,
Щурится, подглядывает сквозь щёлку.

За углом оно снова движется по прямой,
Жгучее, словно кто-то его расплавил)...
Покупаешь батон и спокойно идёшь домой:
Не приходится домой – это против правил.

И в вопросе «Ну, как дела?» почувствовав ложь,
Точнее источник какой-то бодренькой фальши,
Хочешь убить. И, зная, что не убьёшь,
Улыбаешься.
Моешь полы.
И – живёшь дальше.

Неужели, о Господи,
если я и нужна Тебе,

то вот только такой:
с этими мыслями
о том, где чего можно купить подешевле,
о том, чего приготовить,
и чтобы надольше хватило.
Неужели,
я нужна Тебе вот такой:
с этим жалобным раздражением:
«Ах, только не трогайте!..»,
с этим усталым смирением,
с этой одышкой
в стягивающейся петле
одного и того же маршрута.
Неужели,
я нужна Тебе именно
с этой вечною дрожью :
А что
ещё Ты отнимешь?
Любимых? Друзей?
Лёгкий дар
Тобою же данного Слова?
Неужели Тебе
и впрямь нужен пепел?

Зачем?
Что Ты им хочешь удобрить?

Скажи, куда мне спрятаться, скажи,
От жалости слепой куда мне деться?
Пролётами цепляются за сердце
Стекающие с лифта этажи.

И тянутся канаты, провода
(Мгновение – и полутонном выше)
Туда, где голубям не жить под крышей,
И ласточкам не выстроить гнезда,

Где ты меня давным-давно не ждёшь,
Где скомкано пространство в снятых шторах...
По лестнице – шаги, у двери – шорох,
И им в ответ – озябших стёкол дрожь.

Где паучок безвременья соткал
Из памяти и тонкой светотени
Раскидистую сеть для отражений
Немеркнувших в бездонности зеркал.

Где контуры портрета на стене
Ещё видны в неверном лунном свете,

И наши неродившиеся дети
Спокойно улыбаются во сне.

Елагин остров.

На ботиночках шнуровка
Высока, остры коньки.
День – что яркая обновка,
И румяная торговка
Прославляет пирожки.

Вензелей переплетенье,
Жаркий пот, скользящий бег...
И – дворцовые ступени,
Львов чугунное терпенье,
В чёрных гривах – белый снег.

Всё расплывчатей и шире
Круг от прожитого дня.
На часах всё ниже гири,
Может быть, и правда – в мире
Нет и не было меня?

Только лёд прозрачно-ломкий,
Только взмахи детских рук,
Ивы у прибрежной кромки,
Звон коньков, да сердца громкий,
Заполошно-частый стук.

Бредут в ночи, дорог не разбирая,
Кружат, своих не ведая путей,
Слепые миражи земного рая –
Больших идей и маленьких затей,

Сквозь вечный марш уценки и усушки,
Где лай собак страшней, чем волчий вой,
Где пролетарий над гнездом кукушки
Похмельною качает головой.

Сквозь песню, где баян *доносит тихо*
Кому – неважно...

Колкий звёздный жмых,
Любимый город, дремлющее лихо,
Мерцающая речь глухонемых,

Насущный хлеб, чуть влажный на изломе,

Обломки кирпичей, осколки слов –
Смешалось всё, как в чьём не помню доме,
В сияющей бездомности миров,

Рождений и смертей, летящих мимо,
В беззвучном вопле обречённых «Я»...
И лёгкость бытия невыносима,
И неподъёмен груз небытия.

На горбатом мосту лишь асфальт да чугун,
Над мостом – проводов непонятный колтун.
Под горбатым мостом – всё бетон да гранит.
Воздух, скрученный эхом, гудит и звенит.

Только нежить-шишига* живёт-не живёт,
Чешет тощею лапкой мохнатый живот,
Утирает слезинку облезлым хвостом –
Под горбатым мостом, под горбатым мостом.

Будь ты крут и удачлив, а всё ж без креста
Не ходи лунной полночью мимо моста:
Скрипнет ветка сухая, вздохнут камыши,
В голове зазвучит: «Эй, мужик, попляши!».

И погаснет фонарь у тебя на пути,
И не сможешь стоять, и не сможешь уйти...
Тихо щёлкнут костяшки невидимых счёт –
И закружит прозрачных теней хоровод.

И пойдёшь ты плясать, сам не ведая где...
Всплеск – и только круги побегут по воде.
И ещё раз чуть слышно вздохнут камыши,
Вновь – бетон да гранит, и вокруг – ни души.

...

Звучат шаги размеренно и чётко,
В неверном свете редких фонарей
Дрожат ограды кованые чётки,
И ветка, наклонённая над ней.

Лишь хлопнет дверь, и снова только эхо
Невидимым конвоем за спиной,
Да еле слышный отголосок смеха
Там, на мосту, над чёрной глубиной.

И плавится в ночном канале город,
Изнемогая от дождей и смут...

Объятия Казанского собора
Ещё распахнуты, ещё кого-то ждут

Под конец ленинградской зимы ты выходишь во двор,
И, мучительно щурясь, как если бы выпал из ночи,
Понимаешь, что жив, незатейливо жив до сих пор.
То ли в списках забыт, то ли просто – на время отсрочен.

Сунув руки в карманы, по серому насту идешь -
Обострившийся слух выделяет из общего хора
Ломкий хруст ледяной, шорох мусора, птичий галдёж,
Еле слышный обрывок старушечьего разговора:

«...мужикам хорошо: поживут, поживут и – помрут.
Ни забот, ни хлопот... Ты ж – измаешься в старости длинной,
Всё терпи и терпи...» - и сырой городской неуют
На осевшем снегу размывает сутулые спины.

Бормоча, что весь мир, как квартира, - то тесен, то пуст,
Подворотней бредёшь за кирпичные стены колодца,
И навстречу тебе влажно дышит очнувшийся куст,
Воробьи гомонят, и высокое небо смеётся.

Велосипедист.

Я с детства не люблю велосипед.
В нём что-то есть такое... Или нет:
Чего-то не хватает. Для меня
Он – как бы профанация коня.
Хотя, пожалуй...

В юности, когда
Одним роскошным словом «ерунда»
Я называла множество вещей,
И, будучи бессмертной, как Кощей,
Нахальничала с временем на «ты»,
И строила воздушные мосты,
Произошла история со мной -

Я каждый день от площади Сенной
Шла вдоль домов, где поселился тлен
На практику – в больницу номер N.
Я шла, прикуривая на ходу,
На мартовском оскальзываясь льду.

И каждый раз на встречу ехал, нет,
Не ехал, а летел – велосипед.
Он мчался , издавая тихий свист,
Довольно странный велосипедист
На нём сидел, пригнувшись... Так смешон
Мне поначалу показался он:
Не разберёшь – старик ли, молодой,
С бесцветно-неопрятной бородой,
В перчатке чёрной на одной руке,
В нелепой древней шляпе - «котелке».
Велосипед ему был явно мал,
К груди он подбородок прижимал.
Едва касаясь скрюченной ногой
Единственной педали, он другой
Отталкивался – и летел вперёд,
Нырлял, и снова выходил на взлёт.

Вдувалось пузырьём его пальто,
И, может быть, кроме меня никто
Его не видел...

Он летел, скользил,
Но каждый раз как будто тормозил,
Сравнявшись на мгновение со мной...
И, вздрагивая зябнущей спиной,
Я каждый раз – который раз подряд –
Его дождавшись, отводила взгляд.
Домчавшись до ближайшего угла,
Он исчезал.

Я - на работу шла,
Спешила, спотыкалась, чтобы днём
Уже почти не вспоминать о нём.
И только ночью, очутясь на дне
Квартиры спящей, в вязкой тишине
И в темноте, сжимающей кольцо,
Мучительно хотела я лицо
Его хоть раз увидеть... Может быть,
Чтоб навсегда избавиться. Забыть.

Тут он исчез надолго. А верней,
Встать я стала несколько позднеей.
И вот, на полчаса проспав опять,
Однажды шла, рискуя опоздать,
И получить заслуженный «разгон».
Я по пути дожёвывала сон,
Заветренный слегка, как бутерброд,
В тугом зевке растягивала рот,
И думала: « Скорей бы выходной!
Всё надоело...».

мной
Он словно бы из-под земли возник.
И в горле у меня свернулся крик.

Вдруг передо

И с хохотом он на меня взглянул,
Как будто бы меня перечеркнул.
Он хохотал, и хохотала мгла,
Которая лицом его была,
И мне казалось – мгла внутри меня
Ей эхом отзывается, звеня.
От хохота пространство, словно лук,
Натужно выгибалось. И вокруг
Всё хохотало, обращаясь в прах:
Сырая штукатурка на домах,
Внезапно искривившийся фонарь,
И над каналом утренняя хмарь.
И с хохотом всё поглощала мгла.
Одна адмиралтейская игла
Держалась прямо из последних сил...
И в светлой вышине кораблик плыл.
И, взглядом уцепившись за него,
Я в хохоте стук сердца своего
Пыталась различить, нет, - угадать,
И как рубеж последний – не отдать.
А хохот наступал со всех сторон,
И, постепенно превращаясь в звон,
Вдруг резко оборвался.

Тишина

Меня на миг накрыла, как волна.
И жизнь моя косою расплелась,
Я умерла – и снова родилась,
Состарившись на много тысяч лет...

Я с детства не люблю велосипед.

Апрельский день прочитан между строк.
В облупленной стене несвежей раной
Темнеют кирпичи. И водосток ,
Вообразив себя трубой органной ,

Прокашлялся и загудел . Под ним
На тротуаре – трещинок сплетенье,
И прошлогодний лист, весной гоним,
Плывет в небытие прозрачной тени.

И снова мир течет сквозь решето
Фантазии, сквозь близорукость взгляда,
И мне не выразить словами то,
Что вновь его спасает от распада.

Я, скорее всего, просто-напросто недоустала

Для того, чтобы рухнуть без рифм и без мыслей в кровать –
Что ж, сиди и следи, как полуночи тонкое жало
Слепо шарит в груди и не может до сердца достать.

Как в пугливой тиши, набухая, срываются звуки –
Это просто за стенкой стучит водяной метроном.
Как пульсирует свет ночника от густеющей муки,
Как струится сквозняк, как беснуется снег за окном.

То ли это – пурга, то ли – полузабытые числа
Бьются в тёмную память, как снежные хлопья – в стекло.
Жизнь тяжёлою каплей на кухонном кране зависла,
И не может упасть, притяженью земному на зло.

Когда Фонтанки вспухшая вода
В безмолвии пугающе-несытом,
Как будто часа ждущая беда
Шевелится под вздыбленным копытом,

Когда в обнимку пляшут свет и тьма,
На бронзовой уздечке удавиться
Тут можно. Или нет – сойти с ума,
И дальше жить. Никто не удивится.

И на мосту, среди скачущих теней,
Где все и вся равны и равно ложны,
Не так уж сложно удержать коней,
И только напоить их – невозможно.

Разрушение фабрики.

В ворота
с нетерпеливым урчанием
врываются грузовики,
чтоб после,
взрѣвывая от натуги,
переваливаясь и оседая,
словно бы озираясь ,
ползти потихоньку обратно.
Из-под их бортов

сочится капля за каплей,
течёт по асфальту,
струится
сухая кирпичная кровь.
За воротами
с лязгом и скрежетом
огромная челюсть
жадно вгрызается
в тёмно-красную плоть,
в бесстыдно разодранные,
вывернутые наизнанку
потроха перекрытий.
Рушится всё.
В грохочущем воздухе виснет
красно-бурый туман,
мелькают чёрные тени.
Азарт разрушения
перерастает в экстаз,
почти что в истерику.
Слитный
механический вопль
раскаляется до нестерпимого визга.
И обрывается.
В обморочной тишине
среди праха осевшего,
среди мёртвых обломков
кирпича и железа
заводская труба
отчаянно тянется к небу.
А в окна
последней стены,

отделяющей
одну пустоту от другой,
удивлённо заглядывает
осколок лазури.

Грохот кухни и сортира,
Полутёмный коридор –
Коммунальная квартира
Всеми окнами во двор.

Ночью дом натужно дышит,
Мелко стенами дрожит.
Если слушать, то услышишь,
Как вздыхают этажи.

Скрипнет дверь, замок озлится,
Грянет выстрелом в упор,
И затеют половицы

Бесконечный разговор:

...их в двадцатом уплотнили,
выселением грозя...
...а жилец был новый – в силе,
но в конце тридцатых взят.

...помнишь, та – сплошные нервы,
в крайней комнате жила...
...в сорок первом, в сорок первом
в самый голод умерла.

...в угловой держались цепко,
разрубили топором
мебель старую на щепки...
...всё равно – в сорок втором...

Эти выехали сами,
Тот всё пил, да и зачах...
Только память, только память
Глухо шепчется в ночах.

Лица, лица, лица, лица...
Что ни взгляд – немой укор.
Тихо стонут половицы.
Окна плятятся во двор.

Alma mater.

Первому ЛМИ.

Alma mater, мне сладок твой дым.
Не признаешь ты стих мой беспутный,
Погружаясь всё глубже в уютный
Задушевный гитарный интим.
Только взглянешь бездумно и слепо –
Маска памяти, гипсовый слепок...
И тогда по дорожкам твоим

Я пойду. И бродячие псы
Зарычат. И деревья очнутся,
Две синичьих кормушки качнутся
На рябине, как будто весы.
На скамейке сожмётся старуха,
По-ружейному чётко и сухо
За спиной моей щёлкнут часы.

И увижу тяжёлую дверь,
Корпуса твои в дымке морозной,
Улыбнусь совершенно бесслёзно,

Не считая обид и потерь.
Никогда не была я серьёзной.
Никогда.
А теперь уже – поздно.
Слишком поздно теперь.

...

А в декабре бесснежном и бессонном
Бежит трамвай со звоном обречённым,
И пешеходы движутся вперёд,
Как будто их и правда кто-то ждёт.

И пропадают в трещине витрины
Чужие лица, каменные спины,
А следом отражение моё
Торопится, спешит в небытие.

Любимый муж, любовник нелюбимый,
Эквилибристы, акробаты, мимы
Бредут сквозь ночь дорогами тоски...
И время слепо ломится в виски.

Стук метронома, взвинченные нервы,
Брандмауэра тёмный монолит -
Который час – последний или первый
По грубым кружкам вечности разлит?

Который – разошедшийся кругами?..
Но подворотня давится шагами,
Невнятно матерится инвалид,
И Млечный Путь над крышами пылит

*Я хотела бы жить с вами в маленьком городе,
Где вечные сумерки и вечные колокола...
М.И. Цветаева*

... Так и я бы хотела,
только без вас
где-нибудь в Порхове,
или, к примеру, Изборске,
жить
от зарплаты и до зарплаты,
трудиться
в районной больничке
доктором -

работать, как лошадь,
уставать, как собака.
Иногда,
случайно услышав
единственный колокол,
вздрагивать,
молча креститься,
не вспоминать ни о чём.
И я бы хотела,
но
многовато условностей,
разных мелких помех...
Нет,
красивого жеста
не выйдет.
Да и в конце-то концов,
какая мне разница,
где
встречать свои вечные сумерки.

Троллейбус.

Неизвестным безумцем когда-то
Прямо к низкому небу пришит,
Он плывёт – неуклюжий, рогатый,
И железным нутром дребезжит.

Он плывёт и вздыхает так грустно,
И дверьми так надсадно скрипит,
А в салоне просторно и пусто,
И водитель как будто бы спит.

И кондуктор слегка пьяноватый
На сиденьи потёртом умолк.
Ни с кого не взимается плата,
И на кассе ржавеет замок.

Он плывёт в бесконечности зыбкой,
В безымянном маршрутном кольце
С глуповато-наивной улыбкой
На глазастом и плоском лице.

И плывут в городском междустрочьи
Сквозь кирпично-асфальтовый бред
Парусов истрепавшихся клочья
И над мачтами призрачный свет.

В этой комнате слышно, как ночью идут поезда
Где-то там глубоко под землёй, в бесконечном тоннеле...
Пережить бы ноябрь! Если Бог нас не выдаст, тогда
Не учует свинья, и, глядишь, не сожрёт в самом деле.

Пережить бы ноябрь – чехарду приснопамятных дат,
Эти бурые листья со штемпелем на обороте,
Этот хриплый смешок, этот горло царапнувший взгляд,
Этот мертвенный отсвет в чернеющих окнах напротив.

Пережить бы ноябрь. Увидать сквозь сырую пургу
На январском листе птичьих лапок неровные строчки,
Лиловатые тени на мартовском сизом снегу,
Послабление режима и всех приговоров отсрочки.

Пережить бы ноябрь... Ночь ерошит воронье перо,
Задувает под рёбра, где сердце стучит еле-еле.
И дрожит абажур. Это призрачный поезд метро,
Глухо лязгнув на стыках, промчался к неведомой цели.

...

В этой комнате слышно, как ночью идут поезда
Где-то там глубоко под землёй, в бесконечном тоннеле...
Пережить бы ноябрь! Если Бог нас не выдаст, тогда
Не учует свинья, и, глядишь, не сожрёт в самом деле.

Пережить бы ноябрь – чехарду приснопамятных дат,
Эти бурые листья со штемпелем на обороте,
Этот хриплый смешок, этот горло царапнувший взгляд,
Этот мертвенный отсвет в чернеющих окнах напротив.

Пережить бы ноябрь. Увидать сквозь сырую пургу
На январском листе птичьих лапок неровные строчки,
Лиловатые тени на мартовском сизом снегу,
Послабление режима и всех приговоров отсрочки.

Пережить бы ноябрь... Ночь ерошит воронье перо,
Задувает под рёбра, где сердце стучит еле-еле.
И дрожит абажур. Это призрачный поезд метро,
Глухо лязгнув на стыках, промчался к неведомой цели.

У меня три шага от стены к стене,
Ручка и бумага, и луна в окне.
Тонкий лучик света темнотою сжат,
А за стенкой где-то мышки шебуршат.

Мышки голодают каждую весну –
Корочку глодают, ходят на войну.
Может быть, обои прогрызут до дыр,
Может, где-то с бою раздобудут сыр.

Ветер задувает в чёрную дыру,
Мышки затевают тихую игру:
То ли что-то тащат, тащат и грызут,
То ли настоящий учиняют суд.

Может, загуляют, вольностью горя,
Может, расстреляют белого царя.
А потом заплачут, каяться начнут,
С пряника на сдачу получивши кнут.

Высохшие крошки, перекиший страх.
Злые-злые кошки сторожат в углах.
За окошком лужа с огоньком на дне...
Мышкам явно хуже, чем, к примеру, - мне.

У меня три шага и затяжки – три,
Ручка и бумага, и стихи - внутри,
На башкою – крыша, и на кухне – газ...
Господи, услыши, и помилуй нас!

Удельная.

А давай-ка дойдём до шалманчика средней руки,
Где шумит переезд, и народ ошивается всякий,
Где свистят электрички и охают товарняки,
Где шныряют цыгане, где дня не бывает без драки,

Где торгуют грибами и зеленью, где алкаши
Над каким-нибудь хлипким пучком ерунды огородной
Каменеют, как сизые будды, и где для души
На любой барахолке отыщется всё, что угодно,

Где базар и вокзал, неурядица и неуют,
Где угрюмо глядит на прохожих кудлатая стая,
Где, мотив переврав, голосами дурными поют,
И ты всё-таки слушаешь, слёзы дурные глотая.

Там хозяин душевен, хотя и насмешлив на вид –
У него за прилавком шкворчит и звенит на прилавке.
Он всего лишь за деньги такое тебе сотворит,
Что забудешь про всё и, ей-Богу, попросишь добавки.

Он, конечно, волшебник. Он каждого видит насквозь,
И в шалманчике этом работает лишь по привычке.
Вот, а ты говоришь: «Всё бессмысленно...» Ты это брось!..

И опять – перестук, да пронзительный свист электрички.

Трое.

Фотография стандартна: первый класс –
Ох уж мне, блин, эта «школьная скамья»...
«Неблагополучных» трое нас –
Лёнька-Чипа, Игорёк, да я.

Полуграмотная тётка Игорька,
Та, что мыла в нашей школе этажи,
Нам сказала: « Жизнь у вас горька.
Надо вам, ребяташки, дружить.

Все вы – сироты: без мамок, без отцов,
Стало быть, и не нужны вы никому.
Не теряйтесь, а не то, в конце концов,
Передавят, как котят, по одному».

Вот мы и дружили, как могли:
Вместе дрались, вместе бегали в кино,
Тополиный пух в июне жгли.
И нам было совершенно всё равно,

То, что я училась хорошо,
А они – забили напрочь... Ну, так что ж?
И меня не повергали вовсе в шок
Сигареты, клей «Момент» и даже – нож.

А потом все разбежались кто куда:
Им – в путягу, ибо славен всякий труд,
Я же безо всякого труда
Как-то быстро поступила в институт.

Лёнька воровал, попал в тюрьму,
После вышел – да обратно сел.
Игорь пил. Потом бомжатскую суму
На плечо вполне безропотно надел.

Ну а я науку грызла сгоряча,
Не сбавляя взятый темп на вираже.
В общем, я училась на врача,
И – небезуспешно... Но уже

Просыпался странный зверь в моей груди,
И дышал, переплавляя всё – в слова.
Бабка говорила: «Нелюдь!», и

Не была совсем уж сильно неправа.

Лёнька сгинул где-то в дальней ИТК,
Игорька отравы со свету сжила.
Ну а я могла бы жить наверняка.
Я могла бы. Да вот только – не смогла.

Потому, что бесконечно длился час,
Но меж пальцев утекли десятки лет...
Потому, что только трое было нас:
Пьяница, ворюга и – поэт,

Потому, что это – полная фигня:
Дескать, каждый сам судьбу свою лепил.
И теперь я знаю точно: за меня
Лёнька воровал, а Игорь – пил.

И всё чаще я гляжу, гляжу туда,
Где сквозь облака высокий свет
Говорит о том, что боль – не навсегда,
А сиротства вовсе не было и – нет.

Экскурсия.

Обратите внимание: крепость слегка в стороне
От посёлка. Вы знаете, кажется мне,
Расстояние – благо обоим. Оно неспроста,
Разделяя, хранит слишком разные эти места.

Вот – ворота, вот – мост. Но разрушен последний пролёт,
И прогулочным шагом сюда ни один не войдёт.
Вот – бревно над пролётом, последним пролётом моста.
Но как шатко оно! А под ним – пустота, пустота...

Но в стене есть пролом, чуть заметный приземистый лаз.
Это годы проббили здесь брешь. Очевидно – для нас.
Вот – бойницы, вот – башни. Не правда ль, внушительный вид?
Что внутри? – ничего. Время тут не течёт, но кружит,

Завихряясь в ложбинах, меняя свой путь каждый раз,
Не делаясь на «вчера» и «сегодня», «потом» и «сейчас»,
Проникая вовнутрь через каждую трещину, щель...
Нет, часы вам не врут. Но отсчёт здесь другой вообще.

Двор меж грудками сора крапивой так густо зарос,
Будто кто-то посеял. И может возникнуть вопрос:
Отчего после нас остаётся крапива, крапива одна...
Нет, ещё – бузина. Оглянитесь же – вот и она.

Это – церковь. Конечно, креста вместе с куполом нет.
Ни свечей, ни икон. Только свет, только воздух и свет.
Вот – остатки погоста, они различимы едва,

На обломке плиты ещё можно нащупать слова,

И прочесть по складам: «... придите ко Мне, все тружда...» -
По неровному сколу, чернея, кривится звезда.
Плоть работает в поте. И, всё-таки, трудится – дух.
Если голос возник, значит, должен возникнуть и слух.

Нас, однако, учили: когда я, как водится, ем,
То, конечно, я – глух. И по-рыбьи, естественно, нем...
Но попробуйте, встаньте вот здесь, у пролома в стене
Со своею душой оглушенной наедине.

И услышите звук – это шёпот прибрежных кустов,
Или голос, срываясь, дрожит от мучительных слов:
«Я – Воззавший, Я – Тот, Кто хотел вас отвлечь от еды,
Я – бескрайняя память, я – боль самой чистой воды.

Я – Воззавший, Я – Тот, кто над вечностью строил мосты,
Но зависли они, словно крик Мой среди пустоты.
И у каждого есть ненадёжный последний пролёт...
Кто услышит Меня? Кто пойдёт по мосту? Кто пройдёт?»

Там, во рву, земляника рассыпана в мокрой траве...
...обратите внимание: крепость – тринадцатый век...
...до райцентра доедем, наверное, около двух...
(«...Я – Воззавший в пустыне, я – только лишь Голос и Слух»)

Но, вгрызаясь камнями, как будто зубцами – пила,
Стены делят пространство, и время, и нас пополам.
И в проходе сквозном ничего, ничего больше нет –
Только воздух и свет, только мост через воздух и свет.

Что остаётся, если отплыл перрон,
Сдан билет заспанной проводнице?
Что остаётся? – Казённых стаканов звон,
Шелест газет, случайных соседей лица.

Что остаётся? – дорожный скупой уют,
Смутный пейзаж, мелькающий в чёткой раме.
Если за перегородкой поют и пьют,
Пьют и поют, закусывая словами.

Что остаётся, если шумит вода
В старом титане, бездонном и необъятном,
Если ты едешь, и важно не то – куда,
Важно то, что отсюда, и – безвозвратно?

Что остаётся? – Видимо, жить вообще
В меру сил и отпущенного таланта,

Глядя на мир бывших своих вещей
С робостью, с растерянностью эмигранта.

Что остаётся? – встречные поезда,
Дым, силуэты, выхваченные из тени.
Кажется – всё. Нет, что-то ещё... Ах, да! –
Вечность, схожая с мокрым кустом сирени.

Господи, взгляни на наши лица –
Ты сияешь славой в звёздном стане,
Господи, мы – птицы, только птицы,
Жизни еле слышное дыханье.

Наша плоть под солнцем истончилась,
Выветрились слёзы и улыбки,
Нашу тонкокость, легкокрылость
Лишь в полёте держит воздух зыбкий.

Господи, ну что ещё мы можем?
Только петь. Не помня о законе,
Петь одну любовь... И всё же, всё же –
Не сжимай в кулак своей ладони!